

ИЛЬЯ КАЛИНИН
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН



ВИКТОР — СПАСШИЙСЯ

ЧАСТЬ I

Илья Калинин

Виктор-Спасшийся (Часть I)

«Автор»

2026

Калинин И.

Виктор-Спасшийся (Часть I) / И. Калинин — «Автор», 2026

Тяжёлый крейсер погиб в чужой войне, и из трёх тысяч человек уцелел один — Виктор Скорев, пятьдесят лет, третий помощник навигатора. Спасательная капсула разбилась о воду у дикого берега планеты. Он vyplыл голым, потеряв всё разом: корабль, язык, имя и дорогу домой. А наверху его ждало человеческое Средневековье — грязное, голодное и беззаконное, где сильный ест слабого, а чужака либо раздевают, либо жгут.

© Калинин И., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Крушение	5
Глава 2. Капсула	9
Глава 3. Берег	13
Глава 4. Первая ночь	17
Глава 5. Дорога	21
Глава 6. Первый	25
Глава 7. Хищник	30
Глава 8. Осторожность	35
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Илья Калинин

Виктор-Спасшийся (Часть I)

Глава 1. Крушение

Я всю жизнь был человеком маленьким и знал это про себя точнее, чем знал что-либо другое, а знал я, надо сказать, немало, потому что вся моя служба состояла в том, чтобы знать цифры, которые другим были не нужны и не по уму.

Меня зовут Виктор Скорев, и к тому дню, о котором речь, мне было пятьдесят стандартных галактических лет, из которых тридцать с лишним я отдал космофлоту, не выслужив ни чина, ни имени, ни хотя бы доброй каюты. Третий помощник навигатора — вот всё, чего я достиг, и достиг не оттого, что рвался выше, а оттого, что ниже уже некуда, а держали меня за то, что я умел считать. Считать я и вправду умел. Дай мне карту чужого неба, дай разброс звёзд, массы, дрейф, поправку на гравитацию большого тела — и я скажу тебе, куда ляжет прыжок и с какой ошибкой, скажу быстрее машины и вернее иного офицера с нашивками. Больше во мне ничего не было. Ни силы, ни смелости, ни той наглости, что делает из середняка господина. Я считал, я молчал, я доживал.

Война была не моя. Две империи, о которых я и думать не думал, не поделили что-то там, чего я в глаза не видел, и когда до наших окраин докатилась мобилизация, меня, гражданского счетовода при звёздных картах, взяли, как берут мешок с полки, — не спрашивая, нужен ли мешок и хочет ли он. Мне сунули форму не по росту, приписали к тяжёлому крейсеру и сказали, что я теперь служу великому делу. Великое дело мне было безразлично. Я знал только, что на этом крейсере, кроме меня, дышало тысячи три душ, и что всем им, как и мне, эта война была навязана, и что цифра три тысячи через несколько часов станет цифрой один. Один — это буду я. Но этого я тогда ещё не знал, а только чуял, как чует середняк всякую беду, — заранее, нутром, без слов.

Бой шёл уже вторые сутки, и шёл он худо. Я сидел на своём месте, в глубине навигационной палубы, у стола с картами, и по одним только приборам, не видя ни разу вражеского корабля глазами, читал, как читают книгу, всю нашу гибель. Крейсер терял ход. Реакторы садились, щиты моргали, и всякий раз, когда корпус вздрагивал от близкого удара, с потолка сыпалась пыль, а лампы притухали и снова разгорались, будто и они не верили, что мы ещё живы. Враг был мельче нас и оттого страшнее. Их пилоты — юркие одноместные машины — вились вокруг крейсера роем, кусая в одно и то же место, и я по расчёту видел, что место это они выбрали верно: там, за третьей переборкой, был узел, держащий половину корабля. Пробьют — и нас разорвёт пополам.

Двое суток я глядел на эту гибель через приборы и понимал её лучше всех на палубе, потому что все прочие глядели на неё через страх, а я — через цифры, а цифры не боятся. Я видел, как падает наш ход — не рывками, а ровно, неотвратно, как падает температура у остывающего тела. Я видел, как редет наш огонь: сперва замолчала одна батарея, потом другая, и всякий раз, когда замолкала батарея, где-то на корабле умирал её расчёт, десять или двадцать душ, и об этом мне говорила одна погасшая строка на моём пульте, и больше ничего. Я видел, как враг не спешит. Их пилоты не лезли на рожон, не гибли зря; они кружили, откусывали по куску и отходили, и в этой их неторопливости читался приговор вернее, чем в любом ударе: так не воюют с тем, кого боятся, так добивают того, кто уже мёртв, но ещё шевелится. Я читал всё это ровно, без сердцебиения, как читал бы чужую ведомость, и лишь где-то на самом дне, под ровным чтением, тихо и холодно лежало знание, что среди этих гаснущих строк однажды погаснет и моя.

Офицеры кричали. Я не кричал. Я делал то, что умел, — считал. Капитан наверху, которого я ни разу не видел вблизи, принял единственное решение, какое ещё оставалось: уходить прыжком. Не коротким прыжком, каким выскакивают из-под удара за соседнюю звезду, а дальним, на предельную дистанцию, за самый край известных карт, туда, где нас не достанут, потому что туда не летал никто. Такой прыжок — это ставка на всё. Разгонишь поле слишком долго — тебя добьют, пока копишь; уйдёшь чуть раньше срока — выпадешь не там, где считал, а где придётся, и хорошо ещё, если в пустоте, а не в чреве звезды.

Расчёт спустили и мне, для проверки, потому что машине в такой час верили меньше, чем живому счетоводу. Я поглядел на цифры и понял, что прыжок гиблый. Не то чтобы вовсе безнадежный — безнадежного я бы не считал, — а гиблый на треть, на добрую треть, и эта треть означала, что один корабль из трёх при таком прыжке не доходит. Я сказал старшему навигатору, что ошибка велика, что дистанция за пределом, что поле не успеет устояться. Он поглядел на меня усталыми злыми глазами человека, которому нечего терять, и ответил коротко, что выбора нет, что либо треть, либо верная смерть под пилотами, и что моё дело — цифры, а не советы. Он был прав. Я замолчал и стал считать дальше, потому что если уж прыгать в гиблое, то хоть с самой малой ошибкой, какую можно выжать.

Поле начали копить. Весь корабль загудел на низкой, костяной ноте, от которой ныли зубы и мутило под ложечкой, — так гудит всякое судно, собирая в себя ту силу, что вырвет его из этого места и швырнёт за тридевять световых лет. Гудение росло, лампы налились ровным сытым светом, приборы передо мной показали, что горловина прыжка почти готова, и я, глядя на них, впервые за двое суток позволил себе крохотную, глупую надежду, что, может, дойдём. Может, эта треть достанется не нам.

Она досталась нам.

В тот самый миг, когда поле созрело и корабль уже начал вытягиваться из пространства, как капля вытягивается перед тем, как сорваться, вражеский пилот всадил в нас последнюю свою ракету. Я не видел её. Я увидел только, как все приборы передо мной разом сошли с ума — стрелки прыгнули, цифры поплыли, — и почувствовал, как палуба уходит из-под ног не вниз и не вбок, а куда-то, куда палубе уходить не положено, в сторону, которой нет. Ракета попала в нас в самое неудачное мгновение из всех возможных — в мгновение прыжка. Мы не отменили прыжок и не завершили его; мы прыгнули раненые, с пробитым полем, и горловина, вместо того чтобы вынести нас чисто, скомкала корабль и выплюнула его не там, где считали, и даже не приблизительно там, а бог весть где, в какой-то дыре, которой не было ни на одной моей карте.

Что было дальше, я помню рвано, кусками, как помнят не разумом, а телом. Помню, что свет погас весь и разом, и наступила та особенная космическая тьма, в которой не видно и собственной руки. Помню вой, от которого лопались уши, — это уходил воздух, значит, где-то вскрылся корпус. Помню, как меня сорвало со стула и приложило о стол, о карты, о переборку, и как я, ещё не соображая ничего, уже полз, потому что тело моё, пожившее полвека на дрянных кораблях, знало без меня, что делать, когда гаснет свет и воет воздух: ползти к капсуле.

Я всегда знал, где ближайшая капсула. Это была единственная моя привычка, которую можно было бы назвать полезной. Куда бы меня ни назначили, в первый же час я находил, где на моей палубе стоят спасательные капсулы, и запоминал дорогу к ним в темноте, на ощупь, по числу шагов и по выступам переборок. Надо мной посмеивались, кто замечал. Пусть посмеивались. В тот час, в крошечной тьме, под вой уходящего воздуха, посреди корабля, который уже не был кораблём, а становился облаком обломков, я полз к капсуле уверенно, как крот в своей норе, отсчитывая шаги, и находил скобы там, где им и полагалось быть.

Люди вокруг гибли. Я не видел их, но слышал и чуял. Кто-то хрипел, придавленный рухнувшей плитой. Кого-то утянуло в пробоину, и крик его оборвался на середине, как обрыва-

ется нота, когда рвут струну. По палубе, наклонившейся уже почти отвесно, катились в темноте тела, живые и мёртвые вперемешку, и я полз мимо них, отталкивая, если мешали, и не отталкивая, если не мешали, — не от жестокости, а оттого, что жалость в такую минуту есть роскошь, которой у меня не было. У меня было пятьдесят лет за спиной и одна капсула впереди, и я полз к ней.

Странно и горько было потом думать, что спасло меня в тот час ровно то, за что меня всю жизнь держали за ничтожество. Не сила спасла — силы во мне не было. Не храбрость — храбрые в тот час гибли первыми, лезли спасать, командовать, чинить, и гибли. Меня спасла привычка серого человека знать заранее, где выход, и не соваться туда, где убивают, а тихо ползти туда, где, может, не убьют. Всю жизнь я был из тех, кого не замечают, кто держится стен и считает чужие цифры, и всю жизнь мне это ставили в укор, кто вслух, кто взглядом. А вышло, что незаметность — тоже умение, и умение не из последних, потому что тот, кого не замечают, тот и уцелеет, когда замечать становится некому. Я полз, серый, никакой, никем, и оттого живой.

Я не думал о трёх тысячах. Об этом я подумал после, а тогда не думал ни о чём, кроме числа шагов. Но где-то на самом дне, под расчётом, лежало у меня знание, спокойное и холодное, как лежит камень на дне колодца: все эти люди сейчас умрут, и я, скорее всего, тоже, и никому во всей огромной галактике, где две империи режут друг друга за то, чего я не видел, нет до нас никакого дела. Мы расходный материал. Нас списали в ту минуту, когда сунули нам форму. И если из трёх тысяч расходных душ уцелеет одна, то это будет не спасение, а просто ошибка в чьих-то ведомостях, недосписанный остаток.

И вот что я замечу, забегаая вперёд, потому что это важно для всего, что было после. Три тысячи человек только что сгорели у меня за спиной, в одном коротком беззвучном цветке огня, — люди, с которыми я делил тесноту и дрянную еду, чьи лица я знал, а иные имена и помнил. И я не почувствовал ничего. Ни горя, ни ужаса, ни даже того облегчения, что жив. Внутри было ровно и пусто, как бывает ровно и пусто в остывшем котле. Я подумал об этом сам, отстранённо, будто о чужом: вот сгорели три тысячи, а мне всё равно, — и не испугался этой мысли, а принял её к сведению, как принимал всякую цифру. Может, война выжгла во мне это за полгода. Может, оно и раньше во мне было, а война только вынула наружу. Я не знал. Я знал одно: человек, которому всё равно, что погибли три тысячи, — такой человек в мире, куда я падал, не пропадёт. Такому легче, чем тем, у кого внутри ещё что-то теплится.

Капсула была на месте. Люк её я нашёл в темноте по памяти, рванул рычаг, ввалился внутрь и ударил ладонью по пуску, не пристёгиваясь, не проверяя, — на проверку не было ни секунды. Капсула выстрелила меня прочь от корабля так резко, что в глазах потемнело уже не от тьмы, а от крови, отхлынувшей к затылку. Я вжался в кресло, хватая ртом спёртый капсульный воздух, и в узкое мутное окошко увидел наконец то, чего не видел все двое суток, — сам корабль. Вернее, то, что от него осталось.

Крейсер умирал у меня на глазах. Огромная туша, в которой я прожил последние месяцы, ломалась пополам по той самой линии, что я высчитал днём, — там, за третьей переборкой, где бил враг. Из разлома било белым и синим, беззвучно, потому что в пустоте звука нет, и оттого всё это было ещё страшнее, чем со звуком: гигантская гибель, немая, как в дурном сне. А потом корабль вспыхнул весь. Реактор, который держался двое суток, наконец сдал, и там, где только что был крейсер и три тысячи душ, вспух и опал огромный безмолвный цветок огня, и не стало ни крейсера, ни душ, ни моей каюты, ни стола с картами, ни старшего навигатора с его усталыми злыми глазами. Ничего не стало. Один короткий свет — и тьма.

От этого света меня и достало. Взрыв швырнул во все стороны обломки, и один из них, малый, с кулак, а может, и меньше, догнал мою убегающую капсулу и ударил в неё сзади, в корму, туда, где двигатель и системы. Капсулу тряхнуло, развернуло, и что-то внутри неё коротко, жалобно пискнуло и смолкло. Погасла половина огоньков на пульте. По корпусу

пошёл тонкий, ноющий свист — не такой сильный, как на корабле, но того же дурного рода: где-то травило воздух или что-то ещё, чему травить не полагалось. Капсула, вместо того чтобы лететь ровно, начала медленно, тошнотворно кувыркаться, и звёзды в окошке поехали по кругу, раз за разом, раз за разом.

Я сидел в этом кувыркающемся гробу, один, живой, и подводил в уме короткий свой счёт, потому что считать — это всё, что я умел, и в счёте одном находил опору. Корабля нет. Экипажа нет. Я цел, но капсула бита, двигатель, похоже, мёртв, воздух травит. Помощи не будет — мы выпали не там, где ждали, а там, где нет ни своих, ни чужих, ни карт, ничего. Значит, я один, и рассчитывать могу только на то, что подо мной, а не над.

А подо мной было тело. Большое, тёплое, гравитацией своей уже поймавшее мою мёртвую капсулу и потянувшее её к себе, как тянет омут щепку. Планета. В окошке, когда кувырок разворачивал капсулу нужной стороной, я успевал поймать её край — синеватый, в белых разводах, живой на вид, — и с каждым оборотом край этот делался всё больше. Двигатель не отвечал. Уйти я не мог. Я и не рвался: рваться было поздно, а середняк не тратит сил на то, что решено без него, — он бережёт их на то, что ещё можно решить. Капсула падала, и падала она не по моей воле, а по воле того тела внизу, и я, пожизненный середняк, третий помощник навигатора, единственный уцелевший из трёх тысяч, летел, кувыркаясь, к неизвестной планете, не зная о ней ровным счётом ничего, кроме того, что теперь она — единственное, что у меня осталось.

Глава 2. Капсула

Капсула падала долго, и в этом долгом падении, когда сделать было нечего, а думать не хотелось, во мне заговорил единственный оставшийся собеседник — машина.

Голос её пришёл не сразу. Сперва, когда осколок ударил в корму, смолкло всё, и я решил, что и разум капсулы умер вместе с двигателем. Но на исходе первого, самого дурного часа, когда кувырок понемногу унялся и планета в окошке перестала ходить кругом, а встала внизу ровно, огромная и синяя, в динамике над головой что-то щёлкнуло, зашуршало, и ровный, лишённый всякого чувства голос произнёс, что аварийные системы частично восстановлены и что он готов сообщить обстановку. Я сказал — сообщай. Больше мне никто на свете сообщить ничего не мог.

Машина говорила спокойно, как говорят все машины, — ей было всё равно, что докладывать: погоду, курс или мою скорую смерть. Она сказала, что связи нет и не будет: мы выпали за пределы известных карт, ни своих, ни чужих маяков в пределах досягаемости не найдено, сигнал бедствия послан, но принять его некому. Я это и без неё знал, но услышать со стороны, ровным голосом, было почти приятно — как будто не я один так рассудил, а и разум подтвердил: помощи не будет. Это упрощало дело. Пока ждешь помощи, ты дурак и тратишь силы на надежду; как только понял, что помощи нет, — начинаешь считать то, что есть.

Я спросил про планету. Машина ответила, что планета неизвестна, ни в одном реестре не значится, и что она успела снять с орбиты, куда мы падали, кое-что о ней. Воздух пригоден для дыхания — уже хорошо, подумал я, уже не задохнусь. Вода есть, и много, большие моря. Тело планеты тёплое, живое, суша в зелени. А главное — на суше есть люди. Не звери, не что-нибудь, а именно люди, гуманоиды, разумные, и живут они не порознь, а поселениями, потому что с орбиты видны поля, распаханная земля, дороги, дым очагов, а по ночам — редкие пятна огней там, где эти огни разводят.

Я спросил, что это за люди и высоко ли они стоят. Машина ответила так, как только машина и может ответить, — цифрами и признаками, а вывод оставила мне. Она сказала, что в эфире планеты нет ни единого искусственного сигнала. Ни голоса в радиоволне, ни искры передатчика, ни отблеска большой машины — ничего, что говорило бы о развитой технике. Пусто, как в лесу. А это значит, разъяснила она без всякого выражения, что цивилизация внизу доиндустриальная: они не знают ни электричества, ни пороха толком, ни машин; они пахнут землю, куют железо руками, строят из камня и дерева и убивают друг друга простым оружием — тем, что заточено и насажено на древко.

Я слушал и складывал у себя внутри картину, ровную и безрадостную. Планета живая, дышать можно, с голоду сразу не помрёшь. Но людей внизу отделяет от меня не расстояние — расстояние-то я вот-вот преодолею, — а тысяча лет. Тысяча лет, а может, и больше. Я падал не просто на чужую землю, а в чужое время, в глубокую древность, к людям, что живут так, как жили мои предки в такой седой дали, о которой и памяти не осталось. И падал навсегда. Помощи нет, связи нет, техники внизу нет, взлететь мне не на чем и некуда. Что бы ни ждало меня на этой планете, оно ждёт меня до самой смерти. Я подумал об этом и, как и в час гибели корабля, не почувствовал ни ужаса, ни тоски. Внутри было ровно. Ну, древность. Ну, навсегда. В древности тоже как-то живут.

И всё же, сидя в падающем гробу, я перебирал эту древность так и эдак, как перебирал бы чужую опись, и понемногу видел в ней не одну беду. Раз внизу нет ни машин, ни пороха, ни хитрой техники, значит, и меня некому будет ими достать. Там не спросят у меня бумаг, не сверят с реестром, не пошлют вслед погоню на быстром корабле, потому что нет там ни реестров, ни кораблей. Там всё просто и грубо: сильный берёт, слабый отдаёт, а чужак — либо принаровится, либо ляжет в землю. Я всю жизнь был слабым и всю жизнь принаравливался,

так что ремесло это мне было знакомо. Одно я понимал ясно: жить мне отныне так, как живут они, — есть их хлеб, носить их платье, говорить их речью, которой я ещё не знаю, и умереть однажды в их земле под чужим небом. Я, Виктор Скорев, третий помощник навигатора, отныне человек здешний, средневековый, дикарь среди дикарей. С той лишь разницей, что у дикарей этих нет того, что везла мне мёртвая моя капсула на моей же руке. И вот об этом стоило подумывать всерьёз, потому что в мире, где сильный берёт у слабого, всякая малая сила, которой нет у других, стоит дороже золота.

Оставалось спросить главное, и я спросил. Я спросил машину — как мне там выжить. Чем я буду защищаться и добывать своё среди людей, что убивают железом на древке, я, который и в честной драке-то никого не одолел за пятьдесят лет.

Машина помолчала, будто перебирая свои списки, и ответила, что оружия на капсуле нет. Спасательная капсула не боевая, ей оружие не положено; всё, что в ней есть, — припасы, вода на первое время, аптечка и инструмент. Я спросил, что в аптечке. Она перечислила пустое: перевязку, иглы, снадобья, от которых на той планете толку немного. А потом сказала — есть одна вещь. Портативный дефибриллятор.

Я знал, что это. Прибор, чтобы заводить остановившееся сердце. Даёт разряд, толчок током, и сердце, если ещё не совсем ушло, снова берётся стучать. Медицинская вещь, спасающая жизнь. Я не понял сперва, при чём тут выживание среди дикарей, и переспросил. И машина, всё тем же ровным голосом, объяснила мне то, отчего у меня по спине, по мокрой ещё спине, прошёл холодок, — не страха, а расчёта.

Она сказала, что дефибриллятор можно перенастроить. Что тот же разряд, что заводит сердце, при иной настройке сердце останавливает — надёжно, сразу, наглухо. Что прибор питается от вечной ядерной ячейки и работать будет дольше, чем я проживу, сколько бы я ни прожил. Что по форме он сделан наручным, как широкий браслет, и носить его можно на запястье, не снимая. И что если настроить его на разряд по касанию, то всякий, кто коснётся меня — рукой ли, оружием ли, всё равно, хоть через одежду, — получит этот разряд в себя, и сердце его встанет. Мгновенно. Без раны, без крови, без звука. Человек просто упадёт, как падает тот, у кого оборвалась внутри последняя нить.

Я сидел и молчал, и переваривал это, и чем дольше переваривал, тем яснее видел, какая это вещь. Не меч, которым надо махать и которого у меня всё равно нет силы удержать против крепкого мужика. Не хитрая машина, которую негде чинить. А тихая, вечная смерть на моей руке, что убивает того, кто тронет меня, — и не оставляет следа. В мире, где всякий норовит схватить чужака за грудки, обобрать, свалить, — такой мир машина мне только что описала, — это было не просто оружие. Это было лучшее оружие из всех возможных. Потому что грабитель, вор, убийца — все они сперва хватают. А кто схватит меня, тот и умрёт.

И тут, в падающей капсуле, над чужим морем, я поймал себя на мысли, которой прежде за собой не знал, и не отшатнулся от неё, а разглядел спокойно, как разглядывают полезную вещь. Мысль была такая: а ведь эта смерть на руке годится не только чтобы обороняться. Обороняется тот, кто ждёт, пока на него нападут. А можно и не ждать. Можно самому подойти к человеку, у которого есть то, что мне нужно, — платье, обувь, хлеб, монеты, — подойти близко, коснуться его будто невзначай, и он упадёт, и всё его станет моим, и никто не узнает, отчего он упал, потому что следа нет, раны нет, крови нет. Просто шёл человек и умер. С сердцем плохо стало. Бывает. В мире, где нет ни дознания, ни лекарей, что смыслят в сердце, ни бумаг, такая смерть ничем не отличается от смерти от хвори. Я подумал это ясно и до конца и снова прислушался к себе, ждал ли отвращения или хотя бы тени его. Тени не было. Внутри было ровно и пусто, как в остывшем котле, как было в час гибели корабля. Три тысячи сторели — мне всё равно. Один упадёт от моего касания — тем более всё равно, если упадёт с пользой. Я не выбирал этот мир и не выбирал эту войну. Но раз уж меня бросили туда, где берут силой, я буду брать. Тихо, осторожно, наверняка.

Я спросил, будет ли мне самому что от этого разряда. Машина ответила честно, как отвечают машины, не жалея: да, будет. Носящий чувствует отдачу — боль, короткую и резкую, в руке и по телу. Боль ощутимая, но терпимая, и вреда здоровью не наносит: ячейка бьёт наружу, в того, кто коснулся, а на носящего идёт лишь малый обратный ток. Я кивнул сам себе. Терпимая боль — это я как-нибудь стерплю. Я полвека терпел вещи и похуже боли, а расплата в одну секундную судорогу за чужую жизнь и целую чужую суму — это дёшево. Это я возьму.

Машина, пока ещё была жива, помогла мне настроить прибор. Она провела меня по нему голосом: где кнопка, как одним нажатием — можно и через рукав, не глядя — переводить его из спящего в убивающий и обратно, как выставить тот ночной порядок, при котором браслет бьёт сам, всякого, кто коснётся спящего, будь то человек или зверь. Я слушал внимательно, как не слушал никого и никогда, потому что от этих её слов зависело теперь всё. По умолчанию, сказала она, держи его спящим — иначе убьёшь первого встречного по случайности, толкнув в толпе, и готово. Буди его только тогда, когда решил убить, или на ночь, для сна. Я надел браслет на левое запястье. Он был тяжёлый, гладкий, тёплый уже от ячейки внутри, похожий на широкое кольцо из мутного камня или кости, и сидел на худой моей руке плотно. Спящий. Пока спящий.

Одна машина сказала мне ещё, и это я запомнил крепче прочего. Она сказала, что вещь эту нельзя показывать. Что в мире, где не знают ни техники, ни такого убийства, человек с предметом, несущим незримую смерть, будет для здешних не человек, а колдун, нечистый, и что с колдунами такие народы поступают просто — жгут или забивают. Стало быть, браслет надо прятать: носить под рукавом, не снимать, не показывать никому и никогда, и убивать так, чтобы никто не видел ни его, ни того, как я касаюсь. Я и это принял к сведению, ровно, как принимал всё. Прятать так прятать. Мне не привыкать было носить при себе то, чего другим знать не следует.

А потом началась посадка, и стало не до расчётов.

Капсула вошла в воздух планеты, и воздух этот встретил её не ласково. Битый корпус, потерявший половину систем, не мог войти как надо, плавно, брюхом; он вошёл косо, боком, и снаружи загудело, завывло, и в окошке вместо звёзд поплыло рыжее пламя — это горела обшивка, стирая себя о чужой воздух. Капсулу трясло так, что зубы стучали, и швыряло, и я вцепился наконец в ремни, которые не пристегнул при старте, вцепился обеими руками, потому что теперь была не пустота, была тяжесть, и тяжесть эта рвала меня из кресла. Машина ещё говорила что-то про угол входа, про скорость, про то, что посадка будет жёсткой, — и голос её начал дробиться, заикаться, глохнуть, как глохнет человек, которому не хватает воздуха. Осколок, что убил двигатель, добивал теперь и разум капсулы: жар и тряска доламывали то, что ещё держалось.

Сквозь пламя и рыжий дым в окошке проступила внизу вода. Море. Большое, тёмное, всё в белых гребнях, — ходил по нему шторм, не сильный, но злой, мелкой злой волной. А за морем, у самого края, серой полосой лежал берег. Я успел увидеть, что берег этот пуст, дик, без огней, без дыма, — не то место, куда садятся, а то, куда падают. Я успел, по старой своей привычке считать всё, что вижу, прикинуть и это: капсула шла к воде, не к берегу, и это было и худо, и хорошо. Худо — потому что вода холодна, а я не знал, далеко ли до суши и хватит ли во мне сил доплыть. Хорошо — потому что вода мягче камня, и, может, удар о неё не размажет меня по стенкам, как размазал бы удар о твёрдую землю. Выбирать всё равно было не из чего: капсула сама выбрала за меня — воду, шторм и дикий пустой берег, к которому мне придётся выгребать, если я вообще переживу тот миг, когда железо встретится с морем. Машина проговорила последнее, что я разобрал, — что связи нет, что удар неминуем, что она сожалеет, — сожалеет, надо же, откуда в ней это взялось напоследок, — и голос её оборвался на полуслове, коротко пискнул, как пискнул тогда двигатель, и умолк навсегда. Разум капсулы

умер. Я остался в падающем гробу совсем один, живой человек в мёртвой машине, и последнее, что нас связывало с тем миром, откуда я вывалился, погасло вместе с этим голосом.

Я затянул ремни туже, вжался в кресло и поджал голову к груди, как учили когда-то на давно забытых занятиях, которые я слушал вполуха, потому что кто же верит, что старому счетоводу они пригодятся. Последним, что я увидел в мутном окошке, была не земля и не небо, а сама вода, вставшая вдруг стеной, чёрная, в белой пене, летящая мне навстречу. Я сжал левую руку в кулак, там, где сидел браслет, — бессмысленно, но сжал, будто это единственное моё имущество могло меня уберечь, — и зажмурился.

Капсула ударила в воду.

Удар был такой, что мир на миг стал белым, потом чёрным, и я не понял даже, потерял ли сознание или нет, — просто вдруг между одним мгновением и другим пропал кусок. А когда я очнулся, всё уже было плохо. Капсула не разбилась, но треснула; в окошко, в щели, в разорванный шов кормы хлынула вода, тёмная, холодная, солёная, и хлынула быстро, поднимаясь у меня по ногам, по поясу. Капсула тонула. Мёртвая, без света, без голоса, без надежды, она оседала носом вниз, в чужое море, унося меня с собой на дно, и вода прибывала с каждым ударом сердца, и деваться было некуда, кроме как наружу, в шторм, — или остаться тут и утонуть в темноте вместе с этим железным гробом.

Глава 3. Берег

Вода в капсуле поднялась мне до груди прежде, чем я заставил себя двинуться, и хорошо, что заставил, потому что ещё немного — и двигаться было бы поздно.

Тонуций человек в тонущем железе — это одно из двух: либо он выберется в первые полминуты, либо не выберется вовсе. Я знал это, как знал всё, что касается смерти на кораблях, и потому не стал ни звать, ни биться, ни жалеть, а стал искать люк. Люк был над головой, тот же, в который я ввалился при старте, и вода, к счастью, ещё не заперла его собой доверху. Я нащупал рычаг, налёг, и рычаг не поддался. Я налёг сильнее, всем своим малым весом, упёршись ногами в залитый пульт, и почувствовал, как во мне, в худых моих руках, нет той силы, что нужна, и как капсула тем временем оседает ниже, и вода поднимается выше, и времени всё меньше. Тогда я перестал давить и стал ждать. Это против всякого чутья — ждать, когда тонешь, — но я рассудил холодно, сквозь подступавший к горлу ужас, что люк не откроется, пока внутри и снаружи не сравняется давление воды, а сравняется оно, только когда капсулу зальёт почти доверху. Значит, надо впустить воду, надо дать ей залить меня по горло, по подбородок, и только тогда рычаг поддастся. И я стоял и ждал, задрав лицо к последнему пузырьку воздуха под самым люком, и вода поднималась по мне, холодная, чёрная, солёная, и я дышал этим последним воздухом, экономя каждый вдох, покуда вода не подошла к самым губам.

Тогда рычаг поддался.

Люк отвалился в сторону, и вместе с остатком воздуха меня выдавило наружу, в открытую воду, в чёрную бурлящую муть, и я на миг потерял верх и низ, где небо, где дно. Спасло меня то же чутьё утопающего: пузыри идут вверх, к воздуху, а я пошёл за пузырями. Я греб к ним из последних сил, и в этот-то миг понял, что тону не оттого, что слаб, а оттого, что одет. Форма, сапоги, куртка — всё это, напивавшись водой, налилось свинцом и тянуло меня вниз вернее всякого якоря. Всякий, кто тонул одетым, знает эту подлую тяжесть намокшего платья. И я, вместо того чтобы грести, стал раздеваться под водой, срывать с себя всё, что тянуло: рванул куртку, стряхнул её с плеч, нашарил и стянул сапоги, один за другим, потом и остальное, всё, до нитки, бросая это в чёрную воду, не жалея, потому что жалеть тряпку, когда тонешь, может только дурак. Одна лишь вещь осталась на мне — браслет, гладкое тяжёлое кольцо на левом запястье, — и его я не тронул, не потому даже, что помнил про него, а потому, что он сидел плотно и не тянул, а весу в нём против свинцовой одежды было — ничто.

Голый, я всплыл.

Я всплыл в самую бурю, и буря приняла меня зло. Шторм был, как и говорила мёртвая машина, невелик, не тот, что топит корабли, а мелкий, злой, короткой частой волной, — но человеку, голому, старому, вымотанному, и такого шторма с лихвой. Волны хлестали меня в лицо, забивали рот и нос солёной водой, поднимали и роняли, крутили. Берег я видел урывками, с гребня очередной волны, — серую полосу впереди, не близко, не далеко, а на том расстоянии, что решает, доплывёшь или нет, и решает не в твою пользу, если ты — это я. Я не умел плавать хорошо. Я вообще ничего не умел хорошо, кроме как считать, а считать в воде было нечего. Я просто грёб к серой полосе, тупо, упрямо, по-собачьи, отплёвывая воду, и всякий раз, когда волна накрывала меня и тянула вниз, я думал коротко и ясно — вот и всё, вот тут и утонешь, Скорев, — и всякий раз выгребал снова, не оттого, что хотел жить, а оттого, что тело моё, дрянное, слабое, пожившее полвека тело, не желало сдаваться раньше, чем я ему прикажу, а я не приказывал.

Не помню, сколько это длилось. В такой воде время меряется не часами, а вдохами, и вдохов этих было без счёта. Помню, что руки перестали слушаться, налились чужой ватой, и что холод, сперва жёгший, потом перестал жечь, и это было хуже всего, потому что я знал: когда холод перестаёт жечь, это не значит, что стало теплее, это значит, что тело сдаётся. Помню,

что раза два или три меня накрывало так, что я уже не понимал, где верх, и всплывал скорее случайно, чем нарочно. И помню, что под конец я уже не грёб к берегу, а меня несло к нему — прибором, той злой частой волной, что гнала к суше всё, что было в воде, и меня в том числе, как гонит и швыряет щепку.

Была одна минута, которую я запомнил из всех, — минута, когда я решил утонуть. Не то чтобы решил словами; просто в какой-то миг, накрытый очередной волной, потянутый вниз, в тёмную холодную глубину, я перестал грести и обмяк, и подумал спокойно, без страха, что вот так, обмякнув, и уйти легче всего, что борьба бессмысленна, что берег далеко, а сил нет, и что смерть в воде тиха и не больна. Я повис в чёрной воде, отдаваясь ей, и это было почти сладко — перестать. И, может, тем бы и кончилось, если бы не одна мысль, злая и холодная, что кольнула меня в этой сладкой мути. Мысль была не о жизни даже, а об обиде. Обидно было умереть вот так, глупо, в первый же час, уцелев там, где сгорели три тысячи, пройдя сквозь взрыв, сквозь падение, сквозь тонущую капсулу, — и утонуть в двухстах шагах от берега, как слепой котёнок. Не гибель меня подняла со дна, а злость на глупость этой гибели. Я снова задвигал руками, зло, через силу, ругая себя последними словами, и выгреб, и всплыл, и это спасло меня — не воля к жизни, которой во мне было немного, а нежелание помирать по-дурацки.

Берег меня не принял, а выбросил. Волна подняла меня и швырнула на что-то твёрдое, на камни или крупный песок, ободрав бок и колено, и откатилась, и потащила было назад, но я вцепился в это твёрдое всеми своими ватными пальцами и удержался, а следующая волна опять толкнула меня вперёд, и так, толчками, срываясь и цепляясь, я выполз из воды на четвереньках, как выползает не человек, а раздавленное животное, и отполз от кромки прибора, сколько хватило сил, и повалился ничком, и меня стало рвать морской водой, долго, мучительно, всем нутром.

Я лежал и не верил, что доплыл. Тело всё горело и ныло разом — ободранный бок, разбитое колено, содранные о камни ладони, — и каждая мышца дрожала мелкой частой дрожью, какой дрожит загнанная лошадь. Солёная вода жгла ссадины, песок набился всюду, в рот, в глаза, в волосы. Я был жив, но живым себя не чувствовал — чувствовал себя выжатой, выброшенной на берег тряпкой, из которой вытекло всё, чем человек держится. И всё же где-то в глубине этой тряпки тлел, не гас тот малый уголёк, что и есть сама жизнь, упрямая, глупая, не желающая мириться со смертью, — тот самый, что заставил меня давеча выгрести из-под воды назло собственной усталости. Он тлел, и, пока он тлел, я не был мёртв, а раз не мёртв — надо было вставать и жить дальше, как бы мало ни осталось на это сил и охоты.

Когда рвота унялась, я перевернулся на спину и с минуту просто лежал, глядя в чужое небо, и ни о чём не думал, потому что думать было ещё нечем. Небо надо мной было в тучах, серое, низкое, и с него сеялась мелкая дрянная морось, добавляя к морской воде ещё и небесную. Ветер тянул с моря, холодный, и по голому мокрому телу моему пошла такая дрожь, что застучали зубы. Вот тогда, под этот стук зубов, ко мне и вернулся рассудок, а с ним — и счёт, потому что рассудок мой всегда возвращался счётом.

Я лежал на диком берегу чужой планеты, голый, как в день рождения, старый, битый, изблёванный, без единой вещи на теле, кроме кольца смерти на левой руке. У меня не было ничего. Ни клочка одежды прикрыть срам и согреться. Ни ножа, ни огнива, ни куска хлеба, ни глотка пресной воды. Ни крыши, ни норы, ни угла. Я не знал, где я, — не знал даже, как называется это море и этот берег, и никогда, должно быть, не узнаю точно. Я не знал ни единого слова того языка, которым говорят люди этой земли. Я не мог никому сказать, кто я и откуда, да если бы и мог — кто поверит, кто поймёт. Я был один так, как не был один ни один человек за всю мою жизнь, — один на целой планете, чужой ей до последней жилки, отрезанный от всего, что знал, навсегда, без надежды, без возврата.

И, лёжа так и подводя этот безрадостный счёт, я, как ни странно, не отчаялся. Отчаяние — это тоже роскошь, и роскошь опасная: кто отчаялся, тот лёг и помер. А я привык считать не

то, чего нет, а то, что есть, потому что жить можно только на том, что есть. А было у меня, если разобраться, не так уж и совсем ничего. Было живое тело — битое, слабое, но живое, и оно уже согревалось изнутри той малой злостью, что гонит кровь. Был рассудок, холодный и целый. Был опыт полувека, за который я хоть ничего и не нажил, зато научился главному ремеслу середняка — выживать там, где гибнут те, кто ярче и сильнее. И была на левой руке вещь, которой не было ни у кого на этой планете, — тихая вечная смерть, готовая убить всякого, кто меня тронет. С таким имуществом умирать было рано.

И ещё одно я понял, лёжа на том берегу, и это меня, как ни странно, укрепило. Я понял, что вместе со всем, что я потерял, я потерял и всё, что меня держало и мучило. Не стало войны, на которую меня гнали умирать. Не стало начальства, что смотрело сквозь меня, как сквозь пустое место. Не стало ведомостей, чинов, приказов, всей той огромной машины, в которой я полвека был мельчайшим, стёртым винтиком. Тут, на этом диком берегу, надо мной не было никого. Ни империи, ни капитана, ни старшего навигатора с усталыми злыми глазами. Впервые за пятьдесят лет я не был ничьим и не был должен никому ничего. Голый, нищий, одинокий — а свободный, как не был свободен никогда. И этой свободой, если распорядиться ею с умом, с расчётом, без спешки, можно было выторговать у чужого жестокого мира то, чего не дал мне мир свой: тихий угол, сытость, покой. Не власть — власть мне была не нужна и опасна. А тихо, незаметно устроиться так, чтоб не голодать и не мёрзнуть и чтоб никто меня не трогал, — это стоило того, чтоб жить. Ради этого стоило встать с холодного песка.

Я сел. Дрожа, обхватив колени, я огляделся в первый раз по-настоящему, хозяйским, считающим глазом. Берег был дик и пуст — ни дома, ни лодки, ни дыма, ни следа человека; голый камень, серый песок, чахлая трава повыше, у кромки суши, и дальше, за травой, темнела не то роща, не то лес.

Странно было и страшно сознавать, что это — другой мир, не мой. С виду всё было как дома, как на всякой живой планете: серое небо, серое море, камень, песок, трава, деревья вдали. Но это только с виду. Трава была не совсем трава — лист её рос не так, как у нашей, а иначе, чуть иначе, и от этого чуть-иначе мутило сильнее, чем от откровенно чужого. Пахло морем и ещё чем-то незнакомым, горьковатым, — не то водоросли, не то цветы того леса, которых я никогда не нюхал. Где-то в темнеющем лесу кричала птица, и крик её был не птичий, а какой-то свой, чужой, недобрый. Всё тут было немного не так, самую малость сдвинуто, и в этой малости, в этом почти-как-дома, но не дома, и таился весь ужас моего положения вернее, чем в дикости берега. Я был не просто на пустом берегу. Я был на чужой планете, за краем всех карт, среди чужой травы, под чужими птицами, и мне предстояло тут жить и тут умереть. Я поёжился — не от одного холода — и заставил себя не думать об этом, потому что от таких дум толку нет, а есть только слабость, а слабости я не мог себе позволить.

Смеркалось. Скоро придёт ночь, а с ночью — холод пуще, и мрак, и, может, зверьё, что выходит на промысел в темноте, а то и человек, что пострашнее всякого зверя. Значит, первое, что мне нужно, — не еда и не вода даже, а укрытие и тепло, хоть какое, хоть куст, хоть яма, чтобы не околеть в первую же ночь голым на ветру. А там, дожив до утра, я примусь искать людей, потому что всё, что мне нужно для жизни, — платье, огонь, хлеб, — всё это есть только у людей, и брать это я буду у людей, так или иначе. Но это завтра. Сегодня — дожить.

Одно грело меня в этом расчёте — не в прямом смысле, конечно, греться мне было нечем, — но давало опору. Браслет. Если ночью, в темноте, ко мне подобрётся зверь, или, того хуже, человек, — я знал, что делать. Довольно нажать кнопку, перевести кольцо в тот ночной поря-док, о котором говорила машина, и всякий, кто тронет меня спящего, упадёт мёртвым, не успев и зубов сомкнуть. Голый, безоружный, слабый старик на диком берегу — я был при этом смер-тельно опасен для всякого, кто вздумает мной поживиться, и знание это, холодное и твёрдое, стоило дороже костра. С ним можно было лечь спать даже здесь, даже так. Я решил, что найду яму или завал под деревьями, заруюсь в листву и сушняк, сколько его наберу, включу браслет

на ночь и просплю до утра, а там будет видно. План был нищий, но это был план, а с планом человек уже не совсем пропащий.

Я поднялся на ноги, шатаясь, голый и жалкий на пустом чужом берегу под чужим темнеющим небом, и побрёл к тёмной полосе леса, прочь от злого моря, унося на левой руке единственное своё богатство и единственную свою надежду, и уже понимая смутно, ещё не словами, а нутром, что человек, у которого не осталось ничего, кроме готовности убивать, — этот человек в таком мире не последний, а, пожалуй, из первых.

Глава 4. Первая ночь

До леса я добрёл уже в темноте, и лес этот, чужой, шумящий над головой незнакомой листвой, встретил меня не приветливее, чем встретило море, но хотя бы укрыл от ветра.

Я не пошёл в глубину — в глубину чужого ночного леса голому безоружному человеку соваться нечего. Я стал искать укрытие у самой опушки, там, где ещё серел за деревьями остаток света, и нашёл то, что искал, — не берлогу, конечно, где мне взять берлогу, а поваленное дерево, большое, старое, рухнувшее когда-то и лёгшее так, что под вывороченным его корнем образовалась яма, а над ямой навис земляной козырёк. Ветер туда не задувал. Я нагрёб руками в эту яму всего, что нашёл на ощупь, — палой листвы, сухой травы, ломкого лапника, — нагрёб толстый слой, и на него лёг, и остальным закидал себя сверху, зарылся, как зверь, оставив снаружи одно лицо. Листва была сырая, холодная, колючая, но это было лучше, чем голая земля и голый ветер, и понемногу под ней стало не так смертельно холодно, а просто очень холодно, а к очень холодному я был готов терпеть.

Всякий другой на моём месте, я думаю, извёлся бы за эту ночь одним ужасом положения: чужой мир, чужой лес, ни огня, ни ножа, ни платья, и ночь впереди, полная неведомых тварей. Ужас — он тоже убивает, не хуже мороза; кто извёлся страхом, тот наделал глупостей, кинулся бежать в темноте, расшибся, замёрз. Я не извёлся. Я всю жизнь был человеком, у которого мало чувств и много расчёта, и вот теперь эта моя бедность на чувства обернулась богатством. Я не боялся так, чтобы страх мешал думать. Я лежал в своей яме и делал единственное, что мог, — берёг тепло, не двигался зря, дышал ровно и ждал утра, как ждёт утра всякий, кому больше нечего делать. Страх во мне, конечно, был, куда без него, но был он ровный, холодный, полезный страх, который сторожит, а не тот горячий, что гонит на погибель.

Прежде чем закрыть глаза, я занялся браслетом, потому что от браслета зависела моя ночь, а может, и жизнь.

Я нащупал его в темноте на левом запястье, ощупал весь, ведя пальцами по гладкому боку, и нашёл то место, где под пальцем угадывалась кнопка — небольшая, чуть утопленная, чтоб не нажать случайно. Я вспомнил всё, что говорила мёртвая машина, слово в слово, потому что слушал тогда так, как не слушал никого и никогда. Одно нажатие — и прибор из спящего переходит в тот порядок, где бьёт по касанию. Иное, долгое, нажатие — и он встаёт в ночной свой порядок, тот, при котором сам сторожит спящего и убивает всякого, кто его тронет, а хозяина не будит и по пустякам не тратится. Я не видел прибора, не видел, что он там показывает и показывает ли, — в темноте под корягой не видно было и собственного носа. Я мог только сделать, что велено, и поверить, что сделалось. Я и сделал — надавил на кнопку долгим, твёрдым нажатием, как учили, и подержал, покуда, как мне показалось, под пальцем что-то чуть слышно, чуть ощутимо не дрогнуло, будто вещь на руке проснулась и насторожилась.

И вот тут, в этой ледяной сырой яме, зарытый в чужую листву, голый, битый, один на всей планете, я вдруг ощутил не страх, а странное, холодное спокойствие. Я подумал: пусть теперь приходят. Пусть придёт зверь на запах чужой плоти, пусть подкрадётся, пусть тронет меня клыком или лапой — и упадёт замертво, не поняв, обо что убился. Пусть придёт человек, если тут бродят по ночам люди, пусть наклонится обобщать спящего голого старика — и обернёт свою смерть. Я лежал беспомощнее младенца, и я же был смертоноснее всякого, кто мог ко мне подойти, и в этом раздвоении, в этой тайной моей неуязвимости было столько холодной силы, что я, вопреки всему, согрелся ею изнутри чуть больше, чем листвой снаружи. Не всякий богач в тёплой постели за крепкими стенами спит под такой охраной, под какой лёг спать я, нищий, в яме под деревом.

Заснул я не сразу и спал дурно.

Спал я так, как спит загнанный зверь, — урывками, вполуха, всплывая от всякого шороха. А шорохов чужой лес полон был через край. Что-то потрескивало в вышине, что-то ухало вдаль, ровно и жутко, что-то шуршало в листве совсем рядом и смолкало, стоило мне замереть. Незнакомые звуки чужого мира лезли в уши и будили, и всякий раз, проснувшись, я первым делом ощупывал взглядом темноту, ждал, не блеснут ли глаза, а рукой — браслет, на месте ли он и стоит ли на страже. Он был на месте. Раз или два мне почудилось, что рядом кто-то есть, кто-то дышит и движется в темноте у самой моей ямы, и я тогда не шевелился вовсе, лежал, как мёртвый, и ждал — не с ужасом, а с холодным любопытством, — тронет или нет. Не тронуло. Отходило, шурша, во тьму. А я снова проваливался в дрянной сон, где горел беззвучным цветком корабль и тонула чёрная капсула, и снова всплывал от шороха, и так, кусками, тратил эту первую бесконечную ночь.

Была в этой ночи и своя нижняя точка, глухой предутренний час, когда холод забрался в самую середину меня и оттуда, изнутри, стал колотить крупной дрожью, которую я не мог унять, как ни сжимался. В этот час я подумал трезво, без паники, что могу и не дожить до утра, — что старое битое тело, вымотанное морем, может просто остыть во сне и не проснуться, и никакой браслет тут не поможет, потому что от холода браслетом не отобьёшься. Я подумал это и не испугался, а лишь заставил себя шевелить пальцами рук и ног, сжимать и разжимать, гонять кровь, тереть ладонью о ладонь, потому что это было единственное, что я мог противопоставить холоду. И тёр, и сжимал, и шевелил, тупо, упрямо, полусонный, пока сизый свет не пробился наконец сквозь листву. Не тепло меня спасло в ту ночь и не браслет, а всё то же тупое упрямство дрянного моего тела, не желавшего сдаваться раньше срока.

Но пережил.

Я понял, что пережил, когда сквозь листву, которой был засыпан, пробился серый несмелый свет, и чужой лес из чёрного стал сначала сизым, потом серым, и в нём проступили стволы, ветки, мокрые листья. Наступило утро. Я лежал, не веря сперва, что снова цел, и слушал, как в теле, околеченном за ночь, туго, болезненно начинает ходить кровь. А потом, повернув голову, я увидел то, ради чего стоило пережить эту ночь, — увидел доказательство.

Шагах в двух от моей ямы, у самого края навороченной мной листвы, лежал зверь.

Небольшой, с крупную собаку или чуть меньше, поджарый, тёмный, с острой мордой и жёлтыми оскаленными в смертной судороге зубами. Не знаю, как он у нас зовётся и зовётся ли вообще, — тварь чужого мира, — но по виду это был хищник, ночной охотник, из тех, что выходят на промысел затемно и жрут падаль и всё, что найдут. Он и меня нашёл. Он подошёл ко мне в темноте, спящему, беспомощному, голому, зарытому в листву, — подошёл, должно быть, тронуть, укусить, попробовать на зуб, живой я или мёртвый, добыча или нет. И в тот миг, когда он коснулся меня — мордой ли, лапой, всё равно, — браслет на моей руке, стоявший на ночной страже, сделал своё дело. Зверь не успел ни завывать, ни отскочить. Сердце его встало разом, наглухо, и он рухнул тут же, где стоял, в двух шагах от меня, и лежал теперь, оскаленный, мёртвый, не тронувший меня ни на волос.

Я выбрался из своей ямы, кряхтя и охая всем избитым телом, подполз к зверю и оглядел его хозяйским, считающим глазом. Раны на нём не было. Ни крови, ни ожога, ни следа — ничего. Просто мёртвый зверь, ещё тёплый, с застывшей в оскале мордой. Я потрогал его палкой, потом, осмелев, рукой — теперь-то браслет я на всякий случай перевёл обратно в спящий, чтоб не схватить сдуру разряда об эту же тварь, — потрогал и убедился: мёртв наглухо, окончательно. И, глядя на этого мёртвого хищника чужого мира, убитого моим прикосновением во сне, я ощутил не жалость и не торжество, а тихое, глубокое, деловое удовлетворение, какое ощущает человек, когда неведомый прежде инструмент оказывается исправен и делает ровно то, что от него ждали. Работает. Вот главное, что я узнал в то утро. Оружие моё работает не на словах машины, а на деле, на живой плоти, и работает надёжно, тихо, насмерть. Всё, что говорила капсула, — правда. У меня на руке была смерть, и смерть эта служила мне верно.

И, глядя на мёртвого зверя, я думал уже не о звере. Я думал о том, что если браслет так же наглухо, так же тихо убил эту сильную ночную тварь, с её клыками и когтями, — то и человека он убьёт не хуже. Человек не крепче зверя, а сердце у него такое же, и встанет оно от разряда так же разом. Значит, всё, что я холодно надумал в падающей капсуле, — не пустые мысли отчаявшегося, а верный расчёт. Я могу подойти к человеку и коснуться его, и он упадёт, как упал этот зверь, тихо, без раны, и никто не дознается отчего. Я проверил это на твари, и тварь не соврала. Оставалось проверить на человеке, и я знал уже, лёжа над мёртвым зверем в то серое утро, что проверю, и проверю скоро, потому что иначе мне не выжить, а выжить я решил твёрдо. Мысль эта не ужаснула меня и не обрадовала. Она просто легла на место, как ложится верная цифра в столбце, — ровно, окончательно, без остатка.

Зверь, к слову, был не только доказательством, но и мясом.

Голод мучил меня со вчерашнего дня, острый, сосущий, и я поглядел на мёртвого хищника уже не как на диковину, а как на еду, потому что нищий, у которого второй день во рту ни крошки, быстро учится глядеть на всё как на еду. Ни ножа у меня не было, ни огня, но были зубы и руки и была нужда, а нужда острее всякого ножа. Я не стану описывать, как я управился, — скажу только, что управился, и что впервые за много часов в брюхе моём стало что-то, кроме морской воды и желчи, и что было мне при этом не до брезгливости, потому что брезгливость, как жалость и отчаяние, есть роскошь, а роскоши я себе позволить не мог. Наевшись сырого, я отдышался, и мир перестал плыть перед глазами, и в теле явилась хоть малая, а сила — та сила, что даёт человеку не дух, а простое мясо в желудке.

И снова, как я делал теперь всякий раз, я прислушался к себе — не гадко ли, не мутит ли от того, что я, человек, только что рвал руками и зубами сырую чужую тварь, как рвёт её другая тварь. Не мутило. Я отметил это спокойно, к сведению, как отмечал всё: вот ещё одну черту переступил и не поморщился. Вчера мне стало всё равно, что сгорели три тысячи. Сегодня — всё равно, что ем сырое, как зверь. Я понемногу переставал быть тем Виктором Скоревым, тихим счетоводом при звёздных картах, каким прожил полвека, и становился кем-то другим, кого этот жестокий мир требовал и лепил из меня своими руками. Кем именно — я ещё не знал. Но знал твёрдо: тот, прежний, тут не выжил бы и дня, а этот, новый, — выживет.

С силой вернулся и расчёт, а с расчётом я двинулся искать воду и людей.

Воду я нашёл скоро. По низинке, по мху, сбегал из леса к морю тонкий ручей, и вода в нём была пресная, холодная, чуть отдающая землёй и чужими листьями, но пресная, и я пил её долго, жадно, лёжа на брюхе, пока не отяжелел. Пресная вода на чужой планете — это уже не смерть от жажды, это уже жизнь, отмеренная не часами, а неделями. И день, серый и мокрый, но уже не ночной, теплил понемногу озябшее тело, и от воды, от еды в брюхе, от одного того, что я пережил эту ночь и снова считаю, во мне поднялась не радость — радости во мне не водилось, — а трезвая, ровная, деловая готовность жить дальше и брать у этого мира своё. Я умылся, смыл с себя соль и кровь, свою и звериную, оглядел свои ссадины — заживут, — и, напившись и обмывшись, пошёл вдоль ручья прочь от моря, вверх, потому что рассудил, что ручьи ведут к воде, а к воде жмётся всякое жильё, и если тут есть люди, то искать их надо не на голом берегу, а там, куда бежит пресная вода.

И расчёт мой оправдался скорее, чем я ждал.

Пройдя вдоль ручья с полверсты по редющему лесу, я вышел на тропу. Не звериную стёжку, каких я перевидал за утро, а настоящую тропу, набитую, утопанную, широкую в две ступни, с обломанными по сторонам ветками, — тропу, которую быют не звери, а ноги, людские ноги, и не одна пара, а многие, годами. Я замер над ней, как охотник над свежим следом, и сердце моё — то самое пустое, холодное сердце — застучало чуть чаще, потому что тропа эта значила всё. Тропа значила людей. А люди значили платье, обувь, огонь, хлеб, монеты — всё, чего у меня не было и что мне было нужно, чтобы жить.

Но люди значили и другое, о чём я тут же, над тропой, подумал холодно и трезво. Голого немого старика, что выйдет к ним из леса, эти люди не встретят хлебом. В мире, где всякий готов ограбить и убить, чужак без роду, без языка, без клочка одежды — это не гость, а либо жертва, либо добыча, либо нечисть, от которой открещаются камнем. Выйти к ним вот так, в чём мать родила, значило отдать себя им на потеху или на расправу. Нет. К людям надо было выйти не голым и не с пустыми руками, а хоть сколько-нибудь похожим на человека — одетым. А одежда была у них же, у людей, что ходили по этой тропе. Стало быть, первого, кого я встречу на ней, ждёт со мной разговор короткий и без слов. И ещё тропа значила, что теперь начинается настоящее, то, ради чего я выжил в море и пережил ночь: моя новая, чужая, тайная жизнь среди людей, которых я не понимаю и которые не знают, кого пустили на свою землю. Я поглядел вдоль тропы туда, куда она вела, в глубь чужой страны, поправил на руке свою тихую смерть и ступил на людской след.

Глава 5. Дорога

По тропе я пошёл не как ходят люди — открыто, посередине, — а как ходит зверь, которого самого едят: сторонкой, в кустах, вдоль тропы, а не по ней, готовый в любой миг залечь и слиться с землёй.

Иначе мне было нельзя. Голый старик, бредущий по людской тропе средь бела дня, — это такое зрелище, что первый же встречный запомнит его на всю жизнь и разнесёт по всей округе, а мне разноситься было ни к чему. Мне нужно было видеть, а самому оставаться невидимым, и вот этому ремеслу — видеть, а самому в глаза не бросаться — я и учился всю дорогу, ползая в кустах вдоль набитой людьми тропы, как ползал всю жизнь вдоль чужого успеха, только теперь ставка была не служба, а самая шкура.

Тропа скоро сделалась шире, слилась с другой, потом с третьей, и стала уже не тропой, а дорогой — разъезженной, в колеях от колёс, с навозом, с отпечатками копыт и босых и обутых ног. Дорога эта шла лесом, потом лес поредел, пошли поля, распаханнные, засеянные чем-то чужим, но по виду хлебным, и я понял, что жильё близко, что я вышел из дикого края в край обжитой, где ходят, пахут, возят. И тут-то, залёгши в придорожных кустах на краю первого поля, я и увидел их впервые — людей этого мира, вблизи, своими глазами.

Их было трое. Двое мужчин и с ними подросток, и вели они, понукая, тощую животину, впряжённую в скрипучую двухколёсную повозку с каким-то грузом под рогожей. Я лежал в двадцати шагах, не дыша, и глядел на них так, как не глядел, кажется, ни на что в жизни, — жадно, цепко, запоминая каждую мелочь, потому что от этих мелочей зависело теперь, выживу я или нет.

Люди как люди. Вот что я отметил первым и с холодным облегчением. Не чудища, не иная какая порода — люди, такие же, как я, как все, с кого меня лепили: две руки, две ноги, голова, лицо. Ростом они были, пожалуй, чуть пониже того, к чему я привык у себя, но ненамного, так что я, коротышка на своей планете, тут выходил им вровень или чуть выше, — и это было хорошо, это значило, что я не буду среди них уродом-великаном или уродом-карликом, на которого пялятся. Кожа у них была светлее моей, обветренная, грубая; волос русый и тёмный; лица простые, крестьянские, не злые сейчас, а озабоченные своим делом. Будь на мне платье да знай я их речь — я сошёл бы за своего, за такого же, и никто не поглядел бы на меня дважды. Это я отметил особо и отложил в уме как самое, может быть, важное из всего.

Одеты они были грубо и просто: рубахи не рубахи, а какие-то длинные, до колен, подпоясанные верёвкой балахоны из некрашеной дерюги, поверх — накидки из свалывшейся шерсти, на ногах у старших — обмотки и грубые башмаки, у мальчишки — ничего, босые ноги. Небогато. Бедно даже. Но мне и такое платье было бы сейчас царской ризой, потому что своего не было никакого. Я разглядывал их дерюгу так, как иной разглядывает чужое золото.

Приглядывался я и к другому — не к платью, а к самим людям, взвешивая их, как взвешивают не встречных, а противников, потому что всякий человек в этом мире был мне теперь либо добыча, либо угроза, а чаще и то и другое разом. Старший из мужиков был кряжист, широк в плечах, с тяжёлыми рабочими руками, каким переломить мне хребет — пустое дело; у пояса его висел нож в кожаных ножнах, короткий, но настоящий. Второй пожиже, помоложе, но тоже не мне чета: любой из них в открытой драке уложил бы меня, старого да худого, одной рукой. Я отметил это спокойно, без обиды, как отмечал всё: в честной силе я тут никто, последний, любой мужик крепче меня. Вся моя сила была в том, чего они не видели и о чём не подозревали, — в кольце на левой руке. Без него я был бы тут пыль под ногами. С ним я мог убить любого из этих троих одним касанием, и кряжистый со своим ножом лёг бы так же тихо, как лёг ночью зверь. Знать свою слабость и знать свою тайную силу — вот с чем я лежал в тех кустах, и знание это было холодным, но твёрдым.

А речь их я слышал, когда они поравнялись со мной, и речь эта была мне полным мраком. Не язык, а набор чужих звуков, гортанных, тягучих, с придыханиями, — они перекликались о чём-то своём, коротко, буднично, погоняя животину, и я не понимал ни слова, ни даже того, где кончается одно слово и начинается другое. Слушая их, я впервые с полной ясностью ощутил, до чего я тут нем и глух. Я, всю жизнь живший словом и цифрой, стал вдруг бессловесен, как то дерево, под которым спал. И понял я тогда же, лёжа в кустах, что язык этот мне придётся выучить, весь, с нуля, по слову, по звуку, как учит его дитя, — иначе среди этих людей мне не жить, а только прятаться да убивать, а прятаться да убивать вечно нельзя, на этом далеко не уедешь.

А язык — это была работа долгая, на месяцы, а есть и одеться мне нужно было сегодня. Так что язык я отложил на потом, как откладывают большое дело, до которого ещё надо дожить, и вернулся мыслью к малому и сегодняшнему: к тому, как раздобыть платье и хлеб, не сгинув при этом. Всякое большое начинается с малого, а моё малое было простое и грязное — раздеть человека. С этого мне и предстояло начать свою новую жизнь в этом мире, и я не отводил от этой мысли глаз, а глядел ей прямо в лицо, потому что кто отводит глаза от того, что должен сделать, тот и делает это плохо.

Они прошли. Скрип повозки стих за поворотом, и я остался лежать, обдумывая увиденное трезво, по-хозяйски, потому что это была не праздная встреча, а разведка, а всякую разведку я привык обращать в расчёт.

Расчёт складывался невесёлый, но ясный. Всё, что мне нужно, — у этих людей. Платье на них. Хлеб, верно, в той повозке. Огонь у них в домах, ножи у них за поясом, монеты, коли есть, у них в тряпице на груди. У меня — ничего, кроме кольца. И между мной и всем, что мне нужно, стоит пропасть: я гол, нем, чужой, и выйти к ним по-доброму, попросить, объяснить, разжалобить — я не могу, потому что нечем. Нет у меня ни слова, чтобы попросить, ни вида, чтобы разжалобить: голый чужак, свалившийся из леса, — это в таком мире не беда, которому подадут, а либо вор, которого прибудут, либо колдун, которого сожгут, либо дурная диковина, которую свяжут и потащат показывать за деньги. Я перебрал в уме все добрые пути и все нашёл закрытыми. Мир, куда я упал, был устроен просто и грубо, я это уже понял, и в мире этом голому нищему чужаку добром не подавали. В нём брали.

Я не сетовал на этот мир и не судил его. Судить мир — пустое занятие, всё равно что сетовать на мороз или на то, что вода мокра. Мир такой, каков он есть, а мне в нём жить, и жить я собирался не по тому, каким миру следовало бы быть, а по тому, каков он на деле. На деле же он был устроен так, что сильный ел слабого, и всякий, у кого была сила, ел, а у кого не было — того ели. Полвека я был из тех, кого едят, и наелся этого досыта. Тут, на чужой земле, мне впервые за всю жизнь дали силу — тихую, тайную, но настоящую, — и не воспользоваться ею, дать съесть себя и на этой планете, было бы не добродетелью, а глупостью, а глупости я себе не прощал.

Значит, и мне оставалось брать.

Я обдумал это без всякой борьбы с собой, спокойно, как обдумывал бы, каким курсом вести корабль, потому что борьбы во мне не было. Иной, может, тут и заколебался бы: как же так, взять — это ведь отнять у живого человека, а отнять по-настоящему, до конца, тут можно только вместе с жизнью, потому что раненый и ограбленный поднимет крик, приведёт погоню, укажет на меня, — стало быть, брать надо насмерть, надо убивать. Иной бы дрогнул на этом слове. Я не дрогнул. Я вчера съел сырого зверя без брезгливости, я третьего дня не заплакал по трём тысячам сгоревших, и убить одного чужого мне человека, которого я не знаю и не узнаю, ради того, чтобы одеться и не сдохнуть, — это было для меня не преступление и не мука, а просто дело, которое надо сделать чисто и с толком. Браслет мой был для того и создан. Оставалось только сделать всё правильно.

А правильно — это я обдумал в тех же кустах, лёжа, пока солнце ползло по чужому небу, — правильно значило вот что. Не на группу. На группу нельзя: пока свалишь одного касанием, другие увидят, закричат, кинутся, а бегать и драться я не умею, и хоть кольцо убьёт всякого, кто меня схватит, но не всякий станет хватать — иной отскочит, схватит камень, палку, и забьёт меня издали, не касаясь, и вся моя тихая смерть на руке тут бесполезна. Нет. Мне нужен был один. Одиноким путник, идущий сам по себе, без спутников, без свидетелей, — такого можно подпустить, подойти к нему близко под каким ни на есть предлогом, коснуться будто невзначай, и всё. Он упадёт, а вокруг никого, и никто не увидит ни того, как он упал, ни того, отчего. Один тихий труп на пустой дороге, с которого я сниму всё, что мне нужно, и уйду, а найдут его после, если найдут, и рассудят, что путник шёл да и помер — мало ли, сердце, хворь, воля божья. Так рассуждала мёртвая машина, так рассудил и я.

И, рассудив, я стал ждать.

Ждать я умел лучше всего на свете. Всю жизнь я ждал — очереди, приказа, конца смены, конца службы, — ждал терпеливо, тупо, не рвясь, и вот теперь это тусклое моё умение пригложилось как никогда. Я выбрал место с толком: там, где дорога, выходя из леса, делала поворот, и придорожные кусты подступали к самой колее, так что от поворота до кустов было два шага, не более. Тут, за поворотом, идущий по дороге открывался мне весь, а сам меня не видел, покуда не поравняется. Тут я и залёг, в кустах, у самой дороги, голый, вжавшись в холодную землю, и стал ждать одинокого.

Долго ждал. Мимо за то время прошли ещё несколько раз — но всё не то, всё не по мне. Прошли двое конных, крепких, с чем-то длинным, вроде копий, у седла, — этих я и трогать бы не стал, не по зубам. Проехала телега с целым семейством, с бабами и детьми, — этих было много, да и детей я не трогаю. Прошла кучка пеших мужиков, галдящих, с мешками, — толпа, свидетели, нельзя. Я лежал и пропускал их всех, одного за другим, не шевелясь, терпеливо, как терпеливо лежит в засаде тот, кому спешить некуда, а торопливость смертельна. Голод снова подсасывал, холод земли забирался в кости, но я лежал и ждал своего, потому что знал: рано или поздно по всякой дороге пройдёт и одинокий. Одинокие ходят везде. И тот, кто дожждётся одинокого, тот и возьмёт своё.

Раз или два за этот долгий день во мне шевельнулось нетерпение — не взять ли, мол, вон того, что при повозке, или вон тех двоих, будь что будет, — потому что голод и холод точат терпение вернее всякого страха. Но всякий раз я осаживал себя. Нетерпение — вот что губит нашего брата, тихого да слабого, чаще всего. Сильный может позволить себе оплошать и пороть горячку — сила вывезет. Слабому оплошать нельзя ни разу: одна ошибка — и нет тебя. Я был слаб, я это знал, и оттого ошибиться не имел права, а значит, не имел права и спешить. Лучше пролежать в холодных кустах лишний день голодным, чем взять неверно и лечь тут же, у дороги, самому. И я лежал, и глотал слюну, и ждал, и терпение моё было не добродетелью, а расчётом, самым простым и трезвым.

Лёжа, я обдумывал и последнее, самое тонкое: как именно коснуться. Тронуть человека не так просто, как кажется. Путник в опасном мире идёт настороже, чужого к себе близко не подпускает, а голого, выскочившего из кустов, и подавно шарахнётся, схватится за посох, побежит. Мне надо было подойти к нему вплотную, на вытянутую руку, и коснуться прежде, чем он поймёт, что я не то, чем кажусь. Я перебрал так и эдак и решил, что лучше всего не выскакивать и не пугать, а выйти на дорогу навстречу, тихо, жалко, согнувшись, как выходит убогий, что просит подаяния или помощи, — на такого замахиваются, но подпускают, потому что убогий не страшен. Пусть примет меня за нищего, за дурачка, за хворого. Пусть подойдёт сам или подпустит меня, брезгливо отмахиваясь. Одного касания мне довольно, а до одного касания я как-нибудь дотяну свою руку. Прикинуться слабым и жалким мне было нетрудно — я и был слаб и жалок, только жалок смертельно, а этого он знать не мог.

Солнце уже клонилось к лесу, и я начал думать, не заночевать ли снова в кустах и не отложить ли дело до утра, когда из-за поворота, со стороны полей, показался он.

Один. Совсем один, пеший, немолодой уже мужик в такой же дерюге и накидке, с котомкой за спиной и с посохом в руке, шёл он не спеша, устало, глядя под ноги, как идёт человек, отшагавший за день много и думающий не о дороге, а о своём. Ни спутника при нём, ни собаки, ни всадника позади. Дорога за ним была пуста, и впереди, до самого леса, пуста, и вокруг ни души, только поля, да лес, да я в кустах у поворота. Я замер, вжался в землю, и сердце моё, пустое, холодное сердце, застучало ровно и деловито, как стучит оно у мастера перед привычной работой. Не жалость шевельнулась во мне при виде его и не сомнение, а одно холодное, деловое внимание охотника, что дождался-таки своего. Вот он. Вот мой первый. Идёт сам, идёт прямо на меня, не зная, что за поворотом, в двух шагах от колеи, лежит его тихая смерть, а на её руке — вечное кольцо, готовое проснуться от одного нажатия.

Глава 6. Первый

Он шёл медленно, и это было мне на руку, потому что торопливого не подпустишь, а к медленному успеваешь примериться.

Я лежал и считал его шаги, и пока он одолевал те полсотни шагов, что оставались до поворота, я в последний раз перебрал в уме всё, что должен был сделать, — по порядку, как перебирают перед манёвром: выйти, упасть, дать ему подойти, коснуться. Четыре действия. В четырёх действиях трудно ошибиться, если не спешить и не думать лишнего. Лишнее я отсек заранее — ещё вчера, лёжа в кустах, — и теперь в голове у меня было пусто и ясно, как бывает пусто и ясно перед работой, которую ты уже сто раз проделал в уме.

Я разглядел его, пока он шёл. Немолодой, лет, может, сорока пяти, а по здешнему житью, наверное, и меньше; сутулый от котомки, с седоватой щетиной, с тем тяжёлым, вниз глядящим лицом, какое делается у человека, отшагавшего за день много вёрст и не ждущего от вечера ничего, кроме ночлега. Не воин. Не барин. Такой же, как те трое у повозки, — работник, мужик, который куда-то шёл по своей мужицкой надобности и должен был к ночи дойти. Я отметил это спокойно и без всякого чувства, отметил как отмечают глубину под килем: не опасен, значит, годится.

И ещё я отметил его руки. Руки у него были свободны — посох он держал в правой, а левая болталась вдоль тела, — и это тоже было хорошо, потому что человек с занятыми руками не потянется, а с пустой рукой потянется непременно. Всякий тянется рукой к тому, что лежит на дороге.

Когда между нами осталось шагов пятнадцать, я поднялся из кустов и вышел на дорогу.

Вышел я не так, как выходит разбойник, — не рывком, не с криком, — а тихо, боком, шатаясь, и, ступив на колею, сразу упал на колени, а потом и вовсе повалился на бок в пыль, лицом к нему, подтянув ноги. Упал я не совсем притворно. Я двое суток ничего не ел, кроме сырого зверя, ночь пролежал на мёрзлой земле, день пролежал в кустах, и ноги мои подкосились почти сами, так что сыграть мне пришлось немного, а остальное сделало собственное моё тело, и оттого вышло правдиво.

Он остановился как вкопанный.

Я видел снизу, из пыли, как он стал, как отшатнулся на полшага, как перехватил посох обеими руками поперёк, будто дубину, и как лицо его, тяжёлое и сонное, вдруг сделалось быстрым и злым от испуга. И услышал его голос — резкий, гортанный, короткий; он крикнул мне что-то на своём чужом мраке, крикнул дважды, и по тому, как он крикнул, я понял, хоть и не понял ни слова: он спрашивал, кто я такой, и велел мне не двигаться.

Я не двигался. Я лежал, как лежит подыхающий, и тихо, надсадно стонал.

Голоса у меня для него не было. Сказать я не мог ничего, ни единого слова, — и вот тут-то моя немота, что была мне проклятием, впервые сделалась мне подспорьем, потому что немому не надо придумывать, что говорить, а надо только стонать, и всякий поймёт его по-своему. Я и стонал: длинно, некрасиво, с хрипом, как стонет человек, у которого внутри всё кончается. И тянул к нему одну руку — правую, пустую, дрожащую, — не хватая, а прося, как просят подаяния или помощи, и рука эта тряслась у меня не для вида.

Он не подошёл.

Он стоял шагах в шести и глядел на меня, и я видел, как в нём борются испуг, брезгливость и что-то ещё, третье, чему я тогда не знал названия и что, верно, было простым мужицким сомнением: а вдруг человек и вправду помирает. Он оглянулся. Оглянулся налево, направо, назад, по дороге, и я похолодел, потому что понял: он ищет засаду. Он не дурак был, этот мужик. Он знал дорогу и знал, что голый человек, вываливающийся из кустов на повороте, —

это может быть и приманка, за которой в тех же кустах сидят двое с топорами. И он стоял и глядел, и я лежал под его взглядом, стонал и ждал.

Секунды эти были длинные. В такие секунды всё решается, а сделать ничего нельзя.

Он не увидел никого. Кусты были пусты, дорога пуста, поля пусты; из леса не поднялись ни птицы, ни крик. И он, убедившись, стал подходить — не сразу, а по шажку, боком, держа посох наготове, и в лице его недоверие ещё не ушло. Он подходил к падали, а не к человеку: так подходят к подстреленной собаке, которая ещё может тяпнуть.

В четырёх шагах он остановился опять и ткнул меня посохом в бедро.

Ткнул сильно, больно, чтобы проверить, живой ли, и я дёрнулся и застонал громче, и всё внутри у меня в тот миг сжалось не от боли, а от расчёта: дерево. Он касался меня деревом, а не рукой, и ничего не происходило и произойти не могло. Я не знал этого наверное, мог только гадать, но кольцо на моей руке молчало, и мужик стоял живой, — и я отметил себе, холодно и накрепко, на всю оставшуюся жизнь: через палку не берёт. Берёт только тело. Значит, всякий, кто ткнёт меня палкой, копьём или камнем издали, для меня недосыгаем и смертельно опасен, и вся моя сила стоит ровно столько, сколько стоит одно касание руки.

Он ткнул меня ещё раз, в плечо, и что-то сказал — уже тише, себе под нос, и по звуку это было не угрожающее, а досадливое, как говорит человек, наткнувшийся на обузу.

А потом он присел на корточки.

Он присел, положив посох поперёк колен, и, наклонившись, взялся рукой за моё плечо, чтобы перевернуть меня и посмотреть в лицо.

Голая ладонь легла мне на голое плечо. Тёплая, шершавая, тяжёлая ладонь живого человека.

Я нажал кнопку.

Пальцы левой руки, прижатой к земле, у самого живота, там, где он не мог их видеть, сдвинулись на четверть вершка и вдавили выступ на кольце, и в тот же миг меня прошило от кисти до плеча и дальше, в грудь, короткой злой болью, будто ударили изнутри тупым и горячим; и всё.

Он не вскрикнул. Не охнул. Ничего.

Рука его, лежавшая на моём плече, отяжелела вдруг вдвое, и он стал заваливаться на меня всем телом, мягко, без всякого сопротивления, как заваливается пустой мешок, и посох его скатился с колен в пыль. Я успел упереться и отпихнуть его в сторону, и он свалился рядом со мной на дорогу, на бок, и остался лежать. Глаза у него были открыты. Рот приоткрыт. Он смотрел мимо меня в дорожную пыль, и лицо у него было не страшное и не искажённое, а спокойное и глупое, как у спящего с открытыми глазами.

Я лежал рядом с ним и слушал.

Тихо было. Ветер шёл по полю, скрипело что-то в лесу, и больше ничего — ни крика, ни топота, ни голоса. Никто не видел. Ни единая душа на всём свете не видела, как немолодой мужик присел на корточки над лежащим стариком и умер.

Я нажал кнопку второй раз и погасил кольцо — сразу, не откладывая, потому что живому мне ещё предстояло его трогать, а трогать включённое — значит бить самого себя без нужды. Потом сел.

Я сидел в пыли возле мёртвого и ждал, что во мне сейчас поднимется.

Ничего не поднялось.

Я прислушивался к себе внимательно, честно, как прислушивается человек к больному зубу: не занает ли. Не заныло. Не было ни тошноты, ни дрожи, ни того, о чём пишут в книгах, — ни ужаса содеянного, ни жалости, ни даже удивления. Было утомление в ногах и сосущий голод в животе. Было холодное, ровное удовлетворение оттого, что расчёт сошёлся: подпустил, коснулся, готово, всё, как задумано, четыре действия, ни одного лишнего. И была ещё одна мысль, самая деловая из всех: что теперь надо спешить.

Я поглядел на него, лежащего, и подумал без всякой злобы, что этому человеку не повезло. Он шёл по своей дороге, к своему ночлегу, и попал ногой в то единственное место на всём этом свете, где сидел я. Тремя часами позже — я, может, ушёл бы спать в лес, и жил бы он дальше. Он не был мне враг, не сделал мне зла и, наверное, не сделал бы; он просто оказался ближайшим к моей руке источником всего того, чего у меня не было. Мне нужна была его одежда, и я взял его одежду. То, что она снималась вместе с жизнью, было свойством этого мира, а не моей злобой. Так я это себе и положил, и после уж никогда к этому не возвращался.

А потом я начал работать, и работа была грязная.

Раздевать мёртвого оказалось делом тяжёлым и долгим — куда тяжелее, чем убить. Тело было ещё тёплое, но уже неподатливое, тяжёлое не по росту, оно валилось, цеплялось, застревало, руки его не хотели выходить из рукавов, и я, слабый, потный, задыхающийся, возился с ним в дорожной пыли, как возится нищий с непосильной ношей. Я стянул с него накидку из свалывшейся серой шерсти, потом верхнюю дерюжную рубаху до колен, потом нижнюю, потоньше и погрязнее. От одежды его шёл густой человеческий дух — пот, дым, скот, кислая шерсть, — и дух этот был мне противен и сладок разом, потому что это был запах жилья, а не мокрого леса.

Я разул его. Башмаки были грубые, из толстой кожи, разношенные по чужой ноге, с обмотками внутри; я примерил — жали в подъёме, но налезли, и я решил, что стерплю, потому что босым по этим дорогам не ходят. Снял пояс — простой ремень с медной пряжкой, а на поясе нож в кожаных ножнах, короткий, в ладонь, с потёртой деревянной рукоятью. Нож я вынул и осмотрел первым делом: железо было тёмное, в зазубринах, дурно кованное, но острое, и я взвесил его в руке и понял, что это первая моя настоящая вещь в этом мире.

Потом я оделся сам.

Я натянул на голое тело чужую нижнюю рубаху, потом верхнюю, подпоясался, накинул шерстяную накидку, обмотал ноги и всунул их в чужие башмаки, — и, когда всё это на мне сошлось и я поднялся на ноги, со мной случилось то, чего я не ждал. Меня повело, и я постоял, держась за воздух. Не от слабости. Просто грубая шерсть и дерюга легли на кожу, отрезали ветер, и тело моё, двое суток голое, мокрое и мёрзлое, вдруг поняло, что оно больше не голое, и это было почти как тепло костра. Я стоял посреди дороги в чужом тряпье, воняющем чужим потом, и был этому рад так, как не радовался никогда ни одной обновке за пятьдесят лет.

Левый рукав я тут же одёрнул и оглядел. Рукав был широкий и длинный, кисть закрывал до самых пальцев, и кольца под ним видно не было. Я проверил дважды — поднял руку, опустил, вытянул вперёд. Не видно. И нащупал сквозь дерюгу выступ кнопки: нащупывался хорошо, нажимался через ткань легко. Значит, всё, как сказала мёртвая машина: и спрятано, и под рукой. Это было важнее одежды.

Дальше я взялся за котомку.

Я вытряхнул её тут же, на накидку, чтобы не рыться, и разобрал, стоя на коленях. Полкаравая чёрствого тёмного хлеба, завёрнутого в тряпицу. Кус солёного сала, серого, с щетиной на шкурке. Три луковицы. Горсть чего-то сушёного, вроде мелких плодов. Огниво: кресало, кремь и трут в жестянке, — и это, пожалуй, было ценнее хлеба, потому что хлеб съедается, а огонь нужен каждую ночь. Деревянная плошка. Моток бечёвки. Баклажка, в которой булькало.

Баклажку я отвинтил, понюхал и вылил в пыль всё до капли.

Пахло кислым и хмельным. Может, там было доброе питьё, а может, вода, простоявшая три дня, а может, и то, чем этот мужик собирался кого-нибудь опить, — я не знал и знать не мог, а не зная, не пил. Я не пил у себя дома, где всё было проверено, и уж давно не собирался пить в мире, где меня всякий рад убить. Воду я буду брать из ручья, своими руками, на своих глазах. Пустую баклажку оставил: тара пригодится.

Хлеб я разломил и стал есть тут же, стоя над мёртвым, и это был первый хлеб в моей новой жизни. Он был чёрствый, кислый, с песком на зубах, и лучше него я, кажется, ничего не ел.

А потом я нашёл деньги.

Они были не в котомке, а на нём, в тряпице, повязанной под нижней рубахой на голом животе, — и я нашёл их только потому, что уже стянул с него всё, а иначе не догадался бы. Я развязал узел и высыпал на ладонь.

Одиннадцать кружков тёмной меди, разной величины и стёртости, с чьими-то профилями и знаками, каких я не умел прочесть. И две монетки поменьше, белого металла, потёртые, тонкие.

Я сидел на корточках и считал их, перекладывая с ладони на ладонь, как считал всю жизнь чужие цифры в чужих ведомостях. Одиннадцать медных и две белых. Много это или мало, дневной ли это заработок или годовой, хватит ли этого на ночлег, на хлеб, на дорогу — я не знал совершенно. Я не знал ни цен этого мира, ни имени этих монет, ни того, сколько меди идёт за одну белую. Я держал в руке первое своё состояние и не мог его оценить, и это было унижительное чувство для человека, который сорок лет прожил числами. Ничего, подумал я, ссылая монеты обратно в тряпицу. Узнаю. Цену вещам узнают, глядя, как их покупают другие, а глядеть я умею.

Оставалось последнее и самое неприятное.

Труп надо было убраться. Голый мертвец на дороге, у поворота, — это не тихая смерть, это громкая находка: раздетый, значит, ограблен, значит, убит, значит, ищи убийцу. А раздетый и спрятанный — это пропавший человек, а пропал он или ушёл в другую землю, о том пусть гадают.

И я его потащил.

Тащил я его за руки, спиной вперёд, упираясь, отдыхая через каждые десять шагов, и волок так шагов сто в лес, подальше от дороги, и это отняло у меня больше сил, чем весь день. Дважды я падал. Свалил его в промоину за поваленным стволом, накидал сверху палок, гнилой коры и листа, приволок пару камней. Не спрячешь навек. Но и не найдут, пока не пойдёт дух и не сядет вороньё, а к тому времени я буду далеко. Потом вернулся на дорогу и, как умел, затёр башмаком борозду от волока и тёмное пятно там, где он лежал; посох его закинул в кусты.

Я стоял на пустой дороге, одетый, обутый, с ножом на поясе, с хлебом в котомке и с чужими деньгами на груди, и вечернее чужое солнце садилось за лес.

Расчёт мой сошёлся весь, до последней мелочи. Метод работал. И, пересчитывая его в уме, как пересчитывают удачный манёвр, я нашёл в нём только один изъян, зато такой, от которого мне стало холоднее, чем от ветра. Изъян был не в том, как я убил. Изъян был в том, что я это могу повторять. Раз он сработал — я стану его повторять, потому что жить чем-то надо, а другого ремесла у меня в этом мире нет. И где-то на этой дороге, через месяц или через год, ляжет второй такой же, потом третий, потом десятый, и тогда пойдут разговоры, что на дороге у поворота люди пропадают и мрут без раны. Тихая смерть тиха только один раз. Считанная много раз, она делается закономерностью, а закономерность видна всякому, кто умеет считать, и в этом мире такие тоже найдутся.

Об этом мне и надо было думать, а не о мертвце в промоине.

И ещё одно я сообразил, уже закидывая котомку за спину, и от этой мысли меня прорвало сильнее прежнего. На мне была его одежда. Его рубаха, его накидка, его пояс с медной пряжкой, его башмаки, разношенные по его ноге. Он вышел из своей деревни нынче утром, и там его видели в этом самом тряпье все, кто встретился ему у околицы, — баба, сосед, кто угодно. Если я пойду туда, откуда он шёл, я приду прямо в то место, где всякий второй знает его накидку в лицо, как знают в деревне всякую тряпку на десять дворов кругом. И тогда меня

возьмут не за убийство, а просто за то, что на мне надето, и никакое кольцо мне не поможет, потому что брать меня станут вилами и издали.

Значит, туда мне ходу нет. Значит, идти надо было в ту сторону, куда шёл он сам, — через лес, дальше, где его не ждут, где его лица не знают и где дерюга на мне будет просто дерюгой, каких тут тысячи. А что там впереди и есть ли там что-нибудь, я не знал, но незнание было мне сейчас безопаснее знания.

Я одёрнул левый рукав и пошёл по дороге на лес — быстро, сколько хватало моих старых ног, — и шёл, пока было видно колею, а как стемнело, свернул в чащу, отошёл от дороги подальше и залёг в валежнике, накрывшись чужой накидкой и подложив под голову чужую котомку.

Перед тем как закрыть глаза, я нащупал сквозь рукав кнопку и вдавил её. Кольцо проснулось и стало сторожить меня, как сторожило в первую ночь, и теперь я лежал в чужом лесу, в чужой одежде, сытый чужим хлебом, и всякий, кто нашёл бы меня спящим и наклонился бы, чтобы посмотреть, что за человек тут спит, лёг бы рядом со мной и не встал.

За спиной у меня, в промоине под палками и листом, остывал мой первый. А впереди, куда я шёл вслепую и наугад, лежала дорога, по которой ходили люди, и у каждого из них было при себе платье, хлеб и монеты, и каждый из них, если понадобится, мог лечь так же тихо, как лёг этот.

Глава 7. Хищник

Проснулся я оттого, что затекла шея, и первое, что я сделал, ещё не открыв глаз, — нащупал сквозь рукав кнопку и погасил кольцо.

Это стало у меня привычкой в первое же утро: гасить, едва проснусь. Спящий я был смертельно опасен, а проснувшийся становился опасен себе самому, потому что дальше начинался день, а день — это когда надо есть, лезть в котомку, отдирать от себя колючки и хвататься руками за что попало, и всякий раз бить себя разрядом за собственную забывчивость мне было ни к чему. Гасить сразу, включать только на дело или на ночь. Простое правило, и я взял его себе на всю оставшуюся жизнь.

Утро было серое, сырое, с туманом в низинах. Я выбрался из валежника, весь в трухе и мокрый от росы, и первым делом, ещё до еды, разобрал при свете всё, что вчера взял с мёртвого, — потому что вчера я хватал впотьмах и в спешке, а хозяин должен знать своё имущество наперечёт.

Разложил на накидке. Нож с зазубринами. Огниво: кресало, кремь, трут. Плошка. Бечёвка. Пустая баклажка. Полкаравая, сало, лук, сушёные плоды. Тряпица с одиннадцатью медными и двумя белыми. Всё.

Небогато для человека, но для меня, у которого позавчера не было и нитки, это было целое состояние, и я оглядел его с холодным удовольствием, как оглядывает опись человек, привыкший к описям. Потом я съел кусок хлеба с малым ломтиком сала, ровно столько, чтобы унять сосание, и не больше, потому что еда была тут не едой, а запасом, а запас надо растягивать. Соль сала так обожгла мне язык, что заломило скулы. Я сидел на бревне в чужом лесу, жевал чужое сало и был почти доволен, и это, пожалуй, было самое странное чувство из всех, что я испытал на той планете.

Потом я стал думать, и думал долго, сидя на том бревне, потому что дело мне предстояло новое и незнакомое: жить.

До сих пор всё было просто. Не утонуть. Не замёрзнуть. Одеться. Задачи стояли по одной, и каждая была величиной с жизнь. Теперь я был одет, обут, сыт на три дня и при деньгах, и передо мной впервые открылось то, чего у меня не было с самого падения, — время. А время — вещь опасная. Пока ты бежишь, ты не ошибаешься; ошибаться начинают те, у кого появился досуг.

И я положил себе на этот досуг три дела, по важности.

Первое — уйти подальше. Труп в промоине лежал в дне пути позади, и всякий шаг от него был мне прибавкой к жизни.

Второе — язык. Без языка я оставался немым зверем, а немой зверь может только прятаться и убивать, и рано или поздно его затравят. Учить язык мне было не у кого и не по чему, и оставалось одно: слушать. Слушать чужую речь, как слушают шум машины, в котором надо разобрать отдельные стуки, и запоминать сочетания звуков, что повторяются чаще прочих, и связывать их с тем, что при этом делают люди. Работа была муравьиная, но иной у меня не было.

Третье — понять цену деньгам. Одиннадцать медных лежали у меня на груди, и я не знал, богат я или нищ. Это надо было выяснить прежде, чем я вздумаю что-нибудь купить, потому что человек, дающий за краюху хлеба серебро, запоминается всякому торговцу на всю жизнь.

Два последних дела решались одинаково — глядеть и слушать, — и я, поднявшись с бревна, пошёл дальше по дороге не как путник, а как соглядатай.

Три дня я так шёл.

Шёл я обочиной, в двадцати шагах от колеи, по кустам и опушкам, а на дорогу выходил редко и ненадолго. Ночевал в стороне, в чаще, с кольцом на ночном ходу. Огня не разводил

ни разу, хотя огниво жгло мне карман: огонь ночью в лесу виден за версту, а мне видимость была ни к чему. Ел помалу, пил из ручьёв, вставая на колени и глядя, как вода бежит, — свою воду, из своего ручья, никем не тронутую.

А на людей я глядел.

Их на этой дороге было довольно. Шли пешие с мешками, ехали повозки, гнали скот, проходили бабы с корзинами, дважды проезжали конные, при которых я вжимался в землю и не дышал. Я лежал в кустах у бродов, у мостков, у поворотов, — везде, где люди сходятся, останавливаются и говорят, — и слушал. Слушал часами, до звона в голове.

Сперва это был сплошной мрак, как и в первый раз. Потом мрак стал понемногу расслаиваться.

Я начал различать, где кончается одно слово и начинается другое, — по паузам, по ударениям, по тому, как речь спотыкается. Потом стал замечать повторы. Есть в каждом языке слова-затычки, которые человек говорит по десять раз на дню, ничего ими не сообщая, и вот эти-то и лезут в ухо первыми. Одно короткое, гортанное, вроде каркающего га, они говорили при встрече, всякий раз, поравнявшись друг с другом на дороге, — и я положил про себя, что это привет. Другое, длиннее, с придыханием, звучало, когда один другому что-нибудь давал или показывал. Третье, злое, короткое, я слышал от возчика, когда у него завязла телега, и потом ещё от бабы, уронившей корзину, и понял, что это брань.

Три слова за три дня. Смешная добыча. Но я был навигатор, а не поэт, и знал цену малой, но верной величине: три слова, взятые точно, лучше трёхсот, взятых наугад. Я повторял их про себя на ходу, беззвучно шевеля губами, и складывал в память, как складывают монеты в тряпицу.

Про цены я узнал меньше. Раз я видел, как у мостков баба отдала прохожему что-то из корзины, а тот сунул ей в ладонь одну медную монету, и я тщательно запомнил, какова была та монета и каков был кусок. Один раз — это не расчёт, а слух. Но и слух — начало.

На четвёртый день меня взяли в оборот.

Место было дурное, и я это видел, да только другого пути там не было: дорога уходила в промытую овражину, стиснутую с двух сторон осыпями и кустами, так что и обойти её было негде, а лезть в самую крутизну со стороны — значило потерять полдня и надеть шума. Я постоял, поглядел и полез в овражину, держась ближе к правой осыпи, и был настороже, но настороже я был всегда, а в тот раз это мне не помогло.

Они вышли сверху, с осыпи, и спереди, из кустов, разом, как выходят люди, которые тут не первый день и место знают лучше меня.

Их было трое. Первый — молодой, рыжий, с дубиной, второй — постарше, кривой на один глаз, с топором на короткой ручке, третий, вышедший спереди, — сухой, длинный, в засаленном колпаке, и у этого был нож. Одеты они были не лучше меня, а хуже: рвань, обмотки, у рыжего одна нога вовсе в тряпье вместо башмака. Голодные, злые, обыкновенные. Не разбойничья шайка из песен, а трое оборванцев, которые сидят в овраге и берут, что мимо идёт.

Я остановился и опустил плечи. Сердце у меня не колотилось, и это было хорошо, но в голове разом сделалось очень пусто и очень быстро, как бывало на вахте, когда на экране что-нибудь идёт не так.

Расклад я прочёл в один взгляд, и был он скверный.

Трое. Все моложе и крепче. Один с ножом стоит спереди, шагах в пяти, и на дорогу мне не выйти. Двое сзади и сверху. Кричать некому, бежать некуда, драться нечем — нож на поясе я и вынуть не успею, а вынув, только рассмешу их. Всё, что у меня было, — это кольцо, а кольцо работает только на касании, и, стало быть, вся моя жизнь зависела сейчас от одного: захотят они меня хватать руками или сразу забьют издали дубиной. Второе было проще и вернее, и, будь они умнее, они бы так и сделали, и на этом бы всё кончилось. Умирать мне было бы обидно и глупо.

Я нажал кнопку через рукав прежде, чем они подошли.

Спасла меня их бедность. Они ведь вышли не убивать, а брать. Убить путника — дело простое, да только с мёртвого не спросишь, где защиты деньги, а тряпье моё было им, видно, нужнее моей смерти. И рыжий, ухмыляясь, подошёл ко мне вплотную, сказал что-то короткое и весёлое своим и взялся рукой за ворот моей накидки, чтобы тряхнуть меня, как трясут мешок.

Кулак его сгрёб дерюгу вместе с моим воротом.

И через дерюгу его прошло.

Меня ударило знакомой злой болью от кисти в грудь, а рыжий обвис у меня на руках всей своей молодой тяжестью, и дубина стукнула о камень. Я не удержал его и уронил, и он лёг на дно овражины лицом вверх, с открытыми глазами и с той же глупой спокойной рожей, что была у путника на дороге.

Стало очень тихо.

Двое стояли и смотрели на упавшего. Я видел, как у кривого медленно, тяжело ползёт по лицу непонимание. Он не увидел ничего: старик стоял смирно, руками не махал, ножа не вынимал, ничего не бросил, — а парень лёг. Кривой сказал что-то, коротко и вопросительно, и толкнул рыжего ногой, и рыжий не отозвался.

А потом кривой сделал то, чего я и ждал: он шагнул ко мне и схватил меня за плечо, чтобы тряхнуть и спросить, что тут такое.

Второй разряд прошёл через меня следом за первым, и в груди у меня заныло уже нехорошо, и кривой лёг рядом с рыжим, уронив свой топорик.

Длинный в колпаке отскочил.

Отскочил он далеко, шагов на восемь, и присел, выставив перед собой нож, и завывал что-то тонким, срывающимся голосом, и в вое этом я разобрал одно слово, повторённое трижды, — и слово это было не бранью и не приветом, а чем-то таким, от чего у него у самого тряслись губы. Морь, чума, поветрие, дурная смерть, — не знаю, как оно у них называлось, но смысл я прочёл по лицу без всякого языка. Он решил, что старик заразный. Что от него мрут. И это было для меня лучшее из всех объяснений, какие он мог выдумать, потому что заразного бегут, а колдуна жгут.

Я стоял и не двигался. Он не подходил.

И вот тут мне стало по-настоящему худо, потому что я понял, в чём моя беда. У него в руке был нож, а между нами восемь шагов пустого места. Ему не надо было меня хватать. Ему довольно было подобрать с осыпи камень, каких там лежало без счёта, и разбить мне голову с трёх шагов, и я не сделал бы ничего, ровно ничего, потому что вся моя смертоносность кончалась на длине моей руки. Я стоял перед оборванцем с ножом голый, как в первый день, и вся моя тайная сила не стояла в тот миг и медного кружка.

Он ещё повыл, потоптался, поглядел на двух своих, лежащих смирно, и попятился.

А я сделал то единственное, что мог: я застонал, схватился за грудь и повалился на камни.

Повалился я хорошо. Мне и валиться-то почти не пришлось врать: грудь после двух разрядов подряд ныла всерьёз, ноги были ватные. Я лёг на бок, поджал колени и захрипел, и хрип у меня вышел настоящий.

Расчёт был простой и на самое надёжное, что есть в человеке, — на жадность. Если старик от своей заразы сам подох, то он уже не опасен, а на нём накидка, башмаки, котомка и, может статься, деньги, и уходить от такого добра оборванцу, у которого одна нога в тряпье, — обидно. Пусть подумает. Пусть поборется.

Он боролся долго. Я лежал в камнях, хрипел, и слушал его шаги — как он отходит, как возвращается, как обходит по кругу, — и не открывал глаз.

Потом он подошёл и ткнул меня чем-то в спину.

Палкой. Он тыкал меня палкой, издали, на вытянутой руке, ровно как тыкал меня давеча посохом путник на дороге, и я лежал и терпел, и палка была для меня безвредна, а я для палки. Он потыкал раз, другой, третий. Я не шевелился.

И тогда он присел и потянул с меня котомку.

Пальцы его при этом легли мне на шею, на голое, повыше ворота.

Он умер, не успев ничего снять, и упал мне поперёк ног, и я лежал ещё сколько-то, задыхаясь под его весом, потому что сил столкнуть его сразу у меня не было.

Потом я выполз, сел на камень и долго дышал.

Грудь болела. Руку от кисти до плеча ломило, будто её выкручивали, и это была плата за три разряда подряд, и плату эту я запомнил: кольцо било не только по ним, оно било и по мне, и, если бы их было пятеро, я, может, лёг бы четвёртым. Ещё одно ограничение, и его я тоже занёс в свою мысленную опись, рядом с деревом.

А потом я огляделся и понял, что стал богат.

Их было трое, и всё, что у них было, стало моим, и я обирал их в тот вечер долго и обстоятельно, при последнем свете, без всякой брезгливости, как обирают поле. С длинного я снял добротные, куда лучше моих, башмаки, почти по ноге, и переобулся тут же, а свои бросил в кусты. С кривого взял топорик на короткой ручке — вещь, которой можно и рубить, и, если припечёт, кинуть. Взял хороший нож длинного, а свой, зазубренный, оставил на поясе вторым. Взял плащ, ремень, шапку, огниво, две тряпицы с монетами и один кожаный кошель, что был спрятан у кривого под мышкой на шнурке.

Монеты я считал потом, в темноте, на ощупь, и пересчитал трижды, чтобы не сбиться, — всё вместе, и своё, и взятое у них. Медных вышло шестьдесят шесть. Белых — семнадцать. И одна тяжёленькая, жёлтая, толще прочих, — я поворачивал её в пальцах, погрел, поскрёб ногтем и понял, что это, надо думать, золото, и что за неё в этом мире можно, верно, получить многое, а можно и получить нож под ребро, если показать её не тому.

Была ещё баклага, полная, и от неё крепко несло кислым хмельным. Я вылил её на камни, не пробуя, и сделал это спокойно, хотя внутри у меня всё сводило от усталости и хмельное, может, и придало бы сил. Я не пью. Не пил дома, где всё было своё, и уж подавно не стану пить тут, из посуды, которую нёс в овраг человек, живший тем, что травил и резал прохожих.

Тела я не прятал. Прятать три тела в осыпи было мне не по силам, да и незачем: пусть их найдут. Три оборванца, известных всей округе как разбойники, лежат в своём же овраге без единой раны, — из этого всякий сложит что угодно, только не то, что было. Морь, ссора, божья кара за грехи. А я к тому времени буду далеко.

Я собрал всё своё, взвалил и пошёл из овражины в темноту, и, поднявшись на край, обернулся и поглядел вниз, на три тёмных пятна между камнями.

Всю жизнь я был из тех, кого едят. Меня обирали начальники, обходили ровесники, теснили в очередях и вычитали из ведомостей, и я привык считать себя дичью и вести себя как дичь. А тут выходило иначе. Тут те, кто садится в овраг и ждёт добычу, сами были мне добычей, и, чем они голоднее и злее, тем вернее они лезут ко мне руками, а всякая рука, что меня коснётся, — это плащ, башмаки и кошель.

Разбойник в этом мире — самая сытная дичь на дороге. Тихого путника надо выслеживать, ждать и уговаривать подойти, а разбойник приходит сам, приходит охотно и хватает первый.

Мысль эта была нехорошая, я это понимал ясно. Она открывала мне ремесло куда более прибыльное, чем ждать одиноких у поворота, и куда более опасное, потому что там, где режут разбойников, всегда ходит и стража, и молва. Но нехорошая мысль, если она верна, от того не делается неверной, а эта была верна, и я положил её в память рядом с деревом и с болью в руке.

Я шёл всю ночь, сколько мог, и заночевал под кустом уже перед рассветом, а к полудню следующего дня дорога вывела меня на длинный пологий подъём.

С гребня открылось.

Внизу, за полями и перелесками, в дне пути, лежала в излучине широкая бурая полоса — стена, и над стеной, редким серым гребнем, стояли дымы. Много дымов, десятки, сотни; так дымит не деревня, а город. Отсюда он был мал, как ладонь, и тих, и по дороге к нему ползли повозки, крохотные, как вши.

Я стоял на гребне в чужих башмаках, с топором за поясом и с золотой монетой на груди, и глядел на первый город этого мира, и понимал, что там, за той стеной, кончается дорога, где всякий встречный один и никто не смотрит, и начинается место, где на меня будут смотреть тысячи глаз разом.

Глава 8. Осторожность

Город лежал в дне пути, и я не пошёл в него ни в тот день, ни на другой, ни на третий.

Я сидел на гребне и глядел на него сверху, как глядел когда-то на чужую карту перед подходом к незнакомому порту, и знал наверное только одно: соваться туда прямо сейчас, в чём есть, было бы самым глупым, что я мог сделать. За те четыре дня я убил четверых и разбогател, и от этой лёгкости во мне завелось нехорошее — нетерпение и уверенность, а нетерпение и уверенность губят нашего брата вернее всякой стражи. Оттого я и сел на гребне и заставил себя думать, а не идти.

Я разложил перед собой не вещи, а опасности, по порядку, от большей к меньшей, — так, как раскладывал бы отказы систем.

Первая и самая большая — вид. Я поглядел на себя чужими глазами и увидел вот что: пожилой человек в дерюжной рубахе мужика, в накидке мужика, но в добротных башмаках почти по ноге, в хорошей шапке, с плащом получше рубахи, с топором на поясе и с двумя ножами. Три человека на мне были надеты разом, и всякий, кто хоть немного смыслит, увидел бы это с первого взгляда: так одеваются не бедняки, а те, кто раздел бедняка. Я собрал на себя добычу, как собирает её тот, кто никогда не жил добычей.

Вторая — деньги. Всё моё состояние висело у меня на груди в двух тряпицах и кошелье, и стоило кому-нибудь на воротах или на постое хлопнуть меня по груди, послышался бы звон, а звон на таком человеке, как я, — это приглашение. И золото. Одна жёлтая монета, которую нельзя показать никому и нигде, покуда я не узнаю, чего она стоит и кто её берёт не удивляясь.

Третья — немота. Её никуда не денешь, с ней придётся жить и в городе, и это будет самое трудное.

Четвёртая — я сам. Мой способ. Он был хорош, но он был всегда один и тот же, а всё, что делается всегда одинаково, рано или поздно замечают.

С последнего я и начал, потому что это было главное, а всё прочее — только тряпки и монеты.

Я сидел на том гребне и считал свои четыре смерти, как считают позиции на курсе, и всякий раз выходило одно: все четверо легли от одного и того же — от касания моей руки, — и все четверо остались без раны. Один в промоине, трое в овраге. И если найдётся человек, который сложит эти четыре случая вместе и увидит между ними прямую, то прямая эта упрётся в меня, потому что во всех четырёх случаях был один общий предмет — я.

Значит, надо было не давать складывать.

И я вывел себе на том гребне правила, немногие и простые, и держался их потом годами, и, если чем и уцелел в этом мире, то ими.

Не убивать дважды в одном месте. Не убивать тех, кого хватятся к вечеру, — а хватятся тех, кто идёт домой, и не хватятся тех, кто идёт неведомо куда. Не убивать, когда сыт и одет: убийство — не ремесло, а расход, и расход этот велик. Не оставлять двух мертвецов подряд одинаково: одного спрятать, другого бросить, третьего свалить так, будто он упал с обрыва. Не брать всего: с человека, у которого взяли всё, ищут вора, а с человека, у которого осталась накидка и одна монета, ищут разве что хворь. И последнее, самое трудное: не убивать без нужды. Не потому, что жалко. Потому что каждый труп — это ещё одна точка на карте, а по трём точкам прокладывают курс.

Я тут же и проверил себя, и проверка вышла скорая.

Спустившись с гребня, я пошёл к городу не по дороге, а полями, и к вечеру вышел на большак, что вёл к воротам, и залёг в перелеске поглядеть на поток. Народу шло много: возы, пешие, гуртовщики со скотом, — город тянул к себе всё живое кругом, как тянет воронка. И вот в сумерках по этому большаку прошёл мимо меня один — плотный, красный, в добром

сукне, шатающийся, поющий, один-одишёнек, и на поясе у него мотался кошель, полный, с виду тяжёлый, а руки были заняты тем, что он ими размахивал.

Он был мой. Совсем мой. Подойти, коснуться, снять кошель, и всё, и деньги в нём были, судя по мотанию, немалые.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.